

Елена Зелинская

БАЛКАНСКИЙ ДЕКАМЕРОН



УДК 82-4
ББК 84-44
349

БАЛКАНСКИЙ ДЕКАМЕРОН

Зелинская Е.К.
349 Балканский Декамерон : [сборник] / Е.К. Зелинская. —
М. : ДАРЬ, 2022. — 224 с. — 12+.

ISBN 978-5-485-00563-4

АННОТАЦИЯ

УДК 82-4
ББК 84-44

ISBN 978-5-485-00563-4

© Зелинская Е.К., текст, 2022
© Ватель Е., дизайн обложки, 2022
© Издательство «ДАРЬ», 2022
© ООО ТД «Белый город», 2022

Часть 1 БАЛКАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

1.

Все было пропитано зноем. Казалось, он шел от каждого булыжника на мостовой — ступи босой ногой и ошпаришься, — от раскаленных виноградных гроздьев, от неровного камня этих старых серых домов. Триста лет — эх, не добавить множественное число, «множину», — именно лет, не зим, палил их зной, и теперь здесь даже пахнет жарой.

Мы оставили машину внизу, на въезде в Рисан, и медленно поднимались вверх по узкой улице, которая казалась еще уже, сдавленная с обеих сторон высокими домами.

Он не был здесь прежде. Проезжал, конечно, Рисан тысячу раз, но никогда не забирался так далеко вглубь улиц, ведущих к горам, где еще каким-то чудом таилась старая Черногория.

— Я бы хотел здесь жить, — говорил он, озираясь по сторонам, — соберу денег и куплю здесь дом. И буду здесь жить! — повторил настойчиво, словно заранее со мной спорил.

— И что ты тут будешь делать? Купаться каждый день? Ты же «београджанин», столичная штучка.

— Что значит «штучка»?

Улица была пустынна, будто зноем выморило всех под черепичные крыши, на берег моря и еще Бог весть куда. Слово мы шли вдоль декораций забытого спектакля.

В конце улице нас ждала Люба. Ее балахон, который обычно раздувается за ней, когда она несется по своей Галерее, висел недвижно, как парус в штиль.

— Люба, ничего, что я в таком виде? — я обвела руками вокруг себя. Слово и вправду стеснялась полотенца, обмотанного поверх купальника там, где бы должна быть юбка.

— Да мы все здесь такие! — отмахнулась Люба.

Иногда я думаю: вот видели бы меня мои московские друзья — меня, всю упакованную, только из салона, — в этих бесформенных майках без рукавов, с вечно мокрыми волосами и брызгами на загорелых плечах.

Да и мой спутник выглядел вовсе не так, как те мужчины, которые шли рядом со мной в Москве, — в костюмах, с отглаженными воротничками и при итальянских галстуках. Здешняя униформа — майка и шорты, — причем они совсем недалеко оторвались от того предмета туалета, который в советское время назывался «семейные трусы».

Майку он надевает только для эфира.

Любин дом — огромный, многоступенчатый, с садом, внутренним двориком, террасой, которая почему-то выходит во двор и парит над сухой травой как капитанский мостик. Спальни с деревянными кроватями на третьем этаже, где живут художники, и Галереей внизу, — Любин дом и есть корабль, который сейчас нас понесет по волнам — Бог весть куда.

Что в этом доме было раньше, никто не знал и не помнил. На одной из дверей Люба нашла табличку «Пёкара», да так и оставила. На потолке виднелись голубые полосы старинных фресок, а за низкой дверцей открывался подвал с огромной римской ванной.

— Здесь я устрою спа! — сказала Люба.

— Спа на двоих, — заметила я, а глазомер меня никогда не подводил.

Мы переходим из комнаты в комнату: картины, старинный умывальник, выложенный кафельной плиткой, похожий на доильник, и старая плита, на которой стоят два десятка пыльных бутылок со смазанными этикетками.

Он открывает одну из них, и чуть заметный аромат апельсина тает между нами.

Мы вышли в сад. О, эта прелесть запущенного сада! Блики солнца на теплой траве, и небо сквозь сплетенье виноградных листьев.

— А как ты думаешь, что было здесь? — Люба пытается открыть окно в маленькой пристройке у стены сада.

— Я думаю, я думаю, — он подбирает слова выученного языка, — здесь держали скотов.

Я прыскаю, а Любу не удержать:

— Какое классное место! — кричит она. — Загнать туда всех скотов — пусть сидят!

— Что не так? — он чуть смущается, — что я сказал? Ах, да. Я помню, ты мне объясняла — скот. Не скоты.

И мы все хохочем. Словно прямо невесть какая шутка.

Что он еще сказал тогда? Но я не помню. Помню, что только смотрела, как хохочет Люба, как он смеется, как они бьют друг друга в ладони, распахивают двери, подымаясь по ступенькам: — А сюда можно? — Да, но там спальня, там спит художница. — Но ничего, — шепчет мне Люба, — пусть он идет, ей надо встрепенуться. И он вмиг вылетает из спальни, а за ним идет, смущенно придерживая простыню, седоватая тетенька. И они снова все хохочут.

А я смотрю, пытаюсь схватить его лицо таким, как оно есть. Без игры и актерской вежливой маски.

Люба кричит мне. Она вообще не говорит. Только кричит. Задрав голову, будто не верит, что мы ее услышим, — она не высока, и ее лицо все время поднято вверх, словно подсолнух, — к солнцу. Но все-таки не настолько мала ростом, чтобы оглушительно орать и размахивать руками так, что ее балахон трясется в такт смеху. Но органично. Ничего не скажешь. Органично.

Она кричит:

— Лена, ты обещала все это пощелкать!

— Одох, — кричу я ей в ответ — вдруг она не услышит мой обычный питерский холодный тон. С ней все начинают кричать, потому что кажется, что в этом старом доме так положено. Те, кто его строили и наполняли жизнью, так и кричали своим соседям по улице — с одной цветущей террасы на другую. Люблю щегольнуть в русской речи сербским словом.

— Одох, — повторяет он за мной, чуть удивленно. — Куда? — И эта странная тревога вдруг льстит мне, и я бегу вниз по лестнице в Галерею, где оставила сумку, за телефоном.

Рука замирает на веревочных перилах, и откуда-то внезапно цедится во мне холодок — я сейчас вернусь, а всего этого нет: нет громкоголосой светлой Любы, нет знойного сада и нет его.

Но я возвращаюсь, и все на месте.

— Люба! Стань здесь, у виноградника. А ты?

Он перебирает предметы: какой-то ржавый якорь, который художники нашли в саду, сифон...

— Нет, здесь плохой свет, дай я стану спиной к окну. Так хорошо? — В руках ничего нет, поворот головы, поза. Снято.

Вдруг обнаруживаем на еще не обследованной двери табличку «ШУМАДИЯ».

— О, это сербский дом! — теперь он полюбит эти дворики еще больше.

— Сними для меня. Нет. Лучше со мной.

Улыбка, поза, снято.

— А пойдем смотреть мои картины! Теперь ты просто обязан!

— Люба, а жениться он еще не обязан?

В Галерее всего два стула. Я расставляю их посреди комнаты, чтобы мы могли смотреть на стену, к которой прислонены картины.

— А, — схватывает он, — это будет спектакль!

Гулкие каменные стены, синие полосы фресок над головой. Открытые двери, и за ними — дышащая зноем рисанская улица.

Люба кладет руки на край высоких рам. Отделяя от общей кипы картины одну за другой, она поворачивает их лицом к нам.

Любины картины странные.

Иногда кажется, что она просто не утруждает себя поиском красок. Два, редко три, а то и один синий цвет заливает полотно. И удивительное дело — как только возникает контакт между тобой и этими расплывчатыми красками, так из наплывов цвета и хаоса линий появляется вдруг образ. Как на экране. Он оживает, приходит в движение, а главное — если ты его увидел, то больше не замечать этот образ не удастся. Ни тебе, ни окружающим. Немного похоже — бессонница, и ты лежишь и тупо рассматриваешь линии на потрескавшихся обоях, и возникают вдруг чудные носы, конские морды, птица на ветке, — а глаза уже слипаются, и птица машет сонно крылом, и все расплывается, темнеет и спит.

— Ну тут все понятно, — говорит Люба, поворачивая к нам темно-коричневое полотно, — этот глаз видят все. Я первая его заметила. Представляете, сию дома одна. Вечер. Никого, даже соседей, нет, а он на меня смотрит.

Глаз и вправду глядел как-то подозрительно.

— Люб, — говорю я, — а я вижу здесь городские огни. Движение машин. И поздний московский вечер.

Люба ставила перед нами картину за картиной, и это действительно выглядело, как спектакль. Или нет. Вдруг вспомнила — так нам с братом мама в детстве показывала диафильмы. На стенку вешали простыню. Мы усаживались вдвоем на стулики, а мама крутила ручку аппарата, в который вставлялась прозрачная хрустящая пленка с меняющимися картинками.

— А здесь краб. Он ползет прямо на нас. Смотрите, какие огромные клешни! Настоящий камчатский краб! А здесь — зима. Метель. Елки, и две девочки в шубах и шапках взяли за руки.

— А вот это?

— Не. Эту убери. Это мрачно. Мне этого сегодня не надо. Сегодня я покупаю только счастье.

Он помалкивает, с сомнением поглядывая на полотно. Нет, это не сомнение. Это он так входит в роль. Я уже это видела: «Познакомьте меня с ролью, которую мне предстоит играть!» Молчит. И будто тебя не слышит. И этот южный жест: рука идет вперед и вверх,

ладонь открыта — то ли приветствие, то ли отказ, — и замирает на секунду в воздухе — точно арабеск, как в балете. — Как ты это делаешь? — Не знаю. Я так делаю. — И вдруг вскакивает и выходит на сцену.

— А я вижу действие. Я же актер!

— Ах, да, Люба, — с запозданием поясняю я, — он — актер. Телезвезда.

— Смотрите, эти белые брызги на зеленом — это же скандал, это — как это по-русски — издая? А, измена. И она швыряет своему любовнику в лицо все, что придется, — злость, возмущение, крик: «Идиот, я люблю тебя!»

Идиот, я люблю тебя.

— Скажи, ты притворялся? Ты все это придумал? Эту сцену?

— Нет, я не притворялся. Просто я видел, что именно она хочет от меня.

Он берет гитару. Сейчас самое главное, чтобы он не запел «Подмосковные вечера». Такого разочарования я не перенесу. Нет, всего лишь «Ямщик». Оборвал на первой строчке, говорит: «Хорошая песня, да?»

— Хорошая, — говорю, — только грустная.

— Что в ней грустного?! Веселая песня! Смотри, что он поет: «Ямщик, не спеши! — Полако! — Мне не надо

больше торопиться. — Эта женщина наконец отвязалась от меня! Я свободен! Не спеши, дорогой, давай петь!»

И запел!

Теперь была его очередь — для спектакля.

Он пел, как обычно поют актеры, — проигрывая каждую фразу, останавливался, — «а вот так мы поем в кафанах», — смеялся, — «а вот на этом месте все должны поднять кружки и — поставить их разом!» И в воздухе мелькали эти кружки, толпились разноцветные, как карандаши, образы веселых людей, они томились от несчастной любви, плакали и кружились в танце: тот, кто с тобой — на самом деле тебя у него нет. Тебя любит тот, который только мечтает о тебе.

Обаяние полужнакомой сербской речи, где тебе самой приходится домысливать каждый кусок, балканская грусть и путаница, и голос. Голос, который захватывал как морская волна.

Нет, ему нельзя петь перед русскими женщинами. Балканские песни — они же у нас отзывались старой югославской эстрадой. Той таинственной заграницей — она появлялась в СССР в виде элегантных польских, нежных сербских, вольных болгарских акцентов, которых допускали к нам на голубые огоньки.

— А ты можешь спеть что-то из этих старых песен? — спросила Люба, и эта простая просьба прозвучала как-то странно робко и даже интимно.

— Конечно, а что бы вы хотели? Ну, например, Марьянович?

— Марьянович! — Люба схватилась обеими руками за голову. — О Боже, Марьянович! Ой, найди ему быстро, ну вот эту... — Люба пытается напеть, помощи от этого никакой, но я и без нее знаю, что хочет услышать каждая советская женщина!

Я роюсь в телефоне, и через минуту в наших древних стенах звучит потрескавшийся голос Эмиля Горовца: «Ночным Белградом шли мы молча рядом...»

— А, конечно, я это знаю, — он опустил ладонь на струны и запел сербскую версию: «Девойка мала...»

— Оно! Оно! — в восторге кричала Люба. — Но мы слушали все это только на русском!

— А вот эту вы слышали? — Он напел: «Прозоры, прозоры...»

— Да я сама тебе это могу спеть! Ты не понимаешь, что все это для нас значило. Мы же были совершенно закрыты от всего мира!

— Да, — вспомнила и я. — Мы впервые тогда увидели, что на сцене можно двигаться, а не стоять истуканами.

— А как мы танцевали подо все это на школьных вечерах: Радмила Караклаич, Лили Иванова...

Он слушал, усмехаясь, как мы перебирали те немногие знаки заграничной жизни, которые просачивались к нам из Югославии: про вечные очереди за югославскими сапогами, про путевки, которые стоили состояние, и в поездки отбирали, как в космос. А это и был для нас космос — на Адриатику, как на Марс, — и как приезжа-

ли оттуда совершенно обалдевшие женщины и годами рассказывали о красавцах-сербках, которые живут на солнечных берегах в недосягаемой для жизни стране.

И вот мы здесь.

— Марьянович уже совсем старик, — заметил он.

— Не смей так говорить! — вскричала Люба.

— Не такой уж старик, — сказала я. — Я видела его на приеме в Русском Доме. Представьте, стоим мы с приятелем-фотографом, вдруг подлетает одна моя знакомая, Света, хватает его за руку и вопит: «Бежим со мной, скорее, я заплачу тебе за фотку, только бегом», — и она волочет его куда-то, ловко лавируя в толпе.

— А что там? — спрашиваю я. — Да это Марьянович приехал, — сказал кто-то из сербов.

— Марьянович? — и я несусь следом. — У меня тоже, кстати, и фотка есть!

— А фильмы про индейцев? Гойко Митич! Да достаточно было в компании, где все приуныли, сказать — «ГОЙКО МИТИЧ!» и сделать вот так, — Люба приосанилась, вскинула подбородок и приподняла локотки, — и у всех сразу понималось настроение!

Он слушал, переводя взгляд с одной на другую. Мягко перебирал струны, словно сопровождая редкими аккордами наши восторги.

И вдруг сказал: «Слушай, а ведь это же готовая программа. Мы соберем в студии Джордже, Радмилу Караклаич...»

— А она еще жива? — бестактно вставила Люба.

— Да я сама ее видела на том же приеме, — осекла ее я, отмахнувшись, потому что идея уже завладевала мной, как массами.

Он встал и начал ходить по комнате. — И вы в том же темпе рассказываете... Гойко живет в Германии. Но это не вопрос.

Он остановился и посмотрел на меня: — Нет, это даже не программа.

— Да, это вполне на телефильм. Полно у вас ведь наверняка осталось старых кадров, в наших архивах берем голубые огоньки.

Теперь Люба переводила взгляд с одного возбужденного лица на другое.

— Напишешь синопсис?

— Да плевое дело. Люба, нам пора.

— Как ты ловко упаковал наши восторги!

— Ах да, мы как раз с тобой вчера говорили — что мы продаем? Мы продаем свои эмоции.

— Это как у Вайды, помнишь? Все на продажу.

— Нам надо найти заправку.

— Ты как Рыбакова! — кричу я, — это она вечно сбивает всю мою романтику: «Таня, какая лунная дорожка на море, посмотри...» — «Где у тебя таблетки лежат? У собаки понос».

— Ты что, хочешь, чтобы мы здесь встали?

Хочу ли я, чтобы мы встали? Направо от нас идет вверх темная скала, а налево — голубая кромка моря, и на

ней замерли лодки. Вода прозрачная и недвижимая, и кажется, что эти лодки просто поставили сверху какой-то могучей рукой.

Хочу ли я, чтобы мы здесь остались? Что я вообще хочу?

2.

Танин сад похож на подмосковную дачу. На ощупь, на цвет и на запах. Вот так же скользила моя ладонь по перилам, когда я спускалась по ступенькам, стаскивая вниз все, что могла унести в одном чемодане. И так же заглядывали на балкон красные розы. И пах сухой травой и перезревшими яблоками сад. Только за высоким забором московской дачи стоял — темной колючей стеной — густой сосновый лес, а здесь за легкой оградой круглился и уходил к горизонту крутой косогор с дальним леском на краю, откуда вечерами выбегали рыжие серны.

Сад спускался к реке. Наша умная Таня купила себе этот дом давно, раньше всех сообразив, что надо делать. Маленькое село, полтора часа езды до Белграда, и всего час — до Дрины. С веранды видна пустынная дорога, по которой изредка проходят соседи, то просто кивнув, то приветственно махнув рукой. Около дерева стоит корзина: на дне, как гранаты, плотно прижались друг к другу крепкие твердые груши. Ворота в гараж открыты, и видно, как вдоль стены неровным рядом стоят банки

с зимницей, — свидетели внезапных приступов непогащенного инстинкта запасать и долго хранить продукты. Утром хорошо спуститься к реке, шлепать резиновыми тапками по мокрой траве, обходить яблони с низкими ветками, заросшие грядки с помидорами причудливой формы, — где она только откапывает такие сорта? Цветущие кусты огурцов, — оказывается у них маленькие беленькие цветочки, — впервые увидела у Тани. А вот самих огурцов у нее не видела ни разу. Впрочем, вру — были какие-то корявые и бледные, как только что спустившиеся по трапу туристы. А вверх, обратно к дому, подниматься уже тяжелее — в горку, но можно присесть под орешник и смотреть вверх, как бегут светлые облака по светлому небу. Дом Таня покупала для большой семьи, но семья разбрелась, и теперь здесь живет она, кот, который охотится на кроликов, и черная собачонка с цыганскими глазами.

— Таня, мы словно вернулись в классическую русскую литературу — приезжаем друг к другу в деревню и гостим неделями.

Это мы гостим — я и Рюлова. Я гощу на веранде, перед экраном; наши ноутбуки поднимают крышки, как маленькие рояли, и мы выстукиваем на них свою музыку. На круглом столике с каменной мозаикой холодная шершавая поверхность точь-в-точь такая, что была под моей рукой, когда я, сидя на подмосковной даче, четыре года сочиняла свой первый роман. А теперь я сижу здесь, в Сербии, на Таниной даче, и пишу сценарий.

Точнее, сценарий пишет Рюлова. Она умеет. А я сочиняю: то ли пьеса, то ли короткий рассказ — да хоть и новелла, — кто сейчас пишет новеллы, кто вообще помнит, что это такое. Я называю коротко и осторожно: текст.

— Пиши! — кричит Рюлова, — Рожай! Уже головка лезет. Не заталкивать же ребенка обратно. Не думай, что с этим делать. Родится — дадим имя.

Она притаскивает и ставит на столик передо мной букет: мята, две палочки розмарина, лаванда. Я люблю запах трав. У меня уже есть один такой букет, золотые высохшие травы — он привез мне его со Златибора.

Рюлова варит цукаты из груш. Пряный запах ползет из кухни и дразнит.

— Рюлова! — зову я, — иди сюда, я прочту тебе готовый кусок.

Танина кухня похожа на поле боя, которое покинули даже мародеры. Заставленные столы, дрожащие дверцы шкапчиков, открой — и на тебя вывалится старое полотенце или пустая жестянка, полочки с китайскими болванчиками и сувенирными тарелочками из Мадрида с так и не снятой полиэтиленовой пленкой. Рюлова волочет на плиту огромную кастрюлю с прозрачным сахарным сиропом, в котором плавают мелко нарезанные груши.

— Надо же с ними что-то делать. С грушами...

На столе лежат розовые помидоры и две жиденькие веточки базилика. Если осилим, то сделаем салат. Если нет — достанем из холодильника желтый арбуз и будем пить вино на веранде.

— Я прочту. Ты не волнуйся, — Рюлова отбивает мои попытки забрать у нее тяжелую кастрюлю. — Только ты сначала вычитай мою статью.

— Я же ничего в твоей недвижке не понимаю.

— Не, ты только запятые. И так, вообще, типа человеческой логики.

Запятые — это мы завсегда, с нашим удовольствием.

— Прямо сейчас?

— Давай сейчас, а то у меня дедлайн уже три дня, как кончился.

Рыбакова у нас умная, Рюлова чувствительная, а я романтичная. Рыбакова зарабатывает экономическими обзорами, Рюлова — специалист по жилищному рынку. А я пишу путеводители. Дедлайн, деньги, звонки, комментарии, эксперты — страдания с больной головой.

А еще Рюлова придумывает сценарии. А Таня пишет о Сербии. А я — сочиняю текст.

Иногда все это переплетается вместе, да так, что не найти кончика нитки, чтобы дернуть за него и распутать клубок.

Обмотавшись цветастым цыганским платком как юбкой, Рюлова варит цукаты, — лишь бы не работать.

Она не может себя заставить и ждет, когда я приеду, чтобы быстро пошарив по холодильнику, засунуть в рот кусок сыра и встать над ней в позу начальника.

— Рюлова! Где интервью, о каком-то там чертовом поселке? — и Рюлова дрожащими пальцами начнет выстукивать по клавишам пионерские клише про лучший вид из окна загородного дома. Орать в телефон бодрым матом, словно она снова сидит в редакции на пятнадцатом этаже грязно-серого небоскреба, где на входе в кабинет главного редактора стоит медведь с подносом, где прижатый к стене стол, заваленный бумагами, пластиковыми стаканчиками с черным кофейным ободком и веселые коллеги, которых еще не разбросало по разным сторонам и странам.

— Я хочу поменять фамилию, — шепчет она.

— Тебе мало перемен?

— Пусть я буду теперь Бессонова.

— Дорогая, — кричит ей по мессенджеру из Будвы Рыбакова, — Бессонова — это точно про тебя.

— Давай я прочту твои запятые.

Волосы падают ей на лицо, закрывая глаза, и я даже сейчас не могу сообразить: ей нужно носить очки или это она от усталости выглядит как туберкулезная чеховская барышня.

— Рюлова... Ты поди, это... поспи немного. Мне тут долго вычитывать.

Она подымается по ступенькам, огибая черную собачонку — они поссорились и не разговаривают второй

день, — и садится на диван перед низким столиком, где разложены какие-то деревяшки и тонкие, похожие на сапожные, инструменты.

Впрочем, я никогда не видела сапожных инструментов. Это тоже клише — еще над Рыбаковой смеюсь. Инструмент похож совсем на другое: тонкая игла, всажженная в деревянную ручку, — я такой видела в детстве у своего дедушки, которому не удалось стать скульптором, и он лепил поздними вечерами таинственные фигуры химер, поставив дощечки с глиной на подоконник эркера в нашей коммуналке.

Она взяла в левую руку белую пластинку, в правую — это шило, и начала медленно и осторожно шлифовать рисунок.

— Ты знаешь такое дерево — омелу? — спросила она.

Знаю. И даже хранила долго у себя на подмосковной даче засушенную веточку с острыми листьями, которую подобрала во дворе замка короля Ричарда Третьего.

— А я нашла это дерево здесь. В Сербии. Оно растет только в местах силы.

О Боже. Она опять за свое. Я здесь, в эмиграции, привыкла к чужим странностям, в том смысле, что и им бы неплохо к моим приспособиться. Но Рюловские карты таро, внезапные прозрения и копания в чужих судьбах — они такие жалкие, что даже нет сил сердиться. Она вырезает амулеты из светлой омелы, и они светятся в темноте.

Я меняю пару абзацев местами. Убираю лишние тире и ставлю пару запятых.

— Нормально. Можешь отправлять.

Она сидит на кожаном диване, на этой накуренной маленькой площадке перед лестницей, которая ведет на второй этаж, склонившись так низко, что я и не вижу, плачет ли она или это блестят в темноте ее близорукие глаза.

— Рюлова, — говорю ей, — давай закончим с этой ерундой и начнем работать.

Рюлова пишет сценарии для сериала «Рискованные связи».

Ничего более неподходящего к ее нынешнему положению придумать невозможно. Но это единственное, что напоминает нам настоящую жизнь, ту, где были ramпы, утренний выпуск, кружевные платья с открытой спиной и свет. — «Свет, дайте свет на левую камеру!»

Да и мне пора за работу.

Но настрой уже сбит Рюловской недвижимостью.

— Ты давай отправляй в редакцию, а я пройдусь.

Жара уже спала. И даже какие-то облачка зашевелились над горизонтом.

Проселочная дорога идет между сельских домиков, полей с кукурузой, которая стоит стеной, и кажется, что еще чуть-чуть, и эти гигантские стебли выпростают корни и, как триффиды, двинутся прямо на тебя, шагая в такт, как на параде. На обочине у дороги качаются полевые цветы — желтые, голубые, белые.

Я останавливаюсь у сливового дерева и срываю пару желтых плодов — они сладкие и чуть терпкие, как в детстве. Я иду и даже не думаю ни о чем, только ощущаю на коже этот запах, этот теплый воздух, это нарастающее чувство счастья. И вдруг словно прохладное свежее дыхание ветра охватывает меня в этом недвижимом от жары воздухе, окутывает на мгновение целиком, с ног до головы, словно омывает в чем-то необыкновенном, — и тает. А я остаюсь, полная новым чувством, — да, теперь я поняла, что со мной происходит.

Это же надо. В моем возрасте. При всех моих обстоятельствах, здесь, в чужой стране, где все так красиво, так близко, что можешь пощупать, — но не твое. Как это не вовремя, как это нелепо.

— Таня... ты видела меня с ним вместе и слышала. Ничего не заметно? Честно? Я душой не выгляжу?

— А что должно быть заметно? Ты как девочка! Он должен тебя за косички дергать, а ты его портфелем бить?

— Не знаю. Он за косички дергает.

— Ты выглядишь воодушевленной, вовлеченной, немного влюбленной — и это прекрасно. Что в этом смешного? Это и есть отличное партнерство. Не собачиться же друг с другом.

— Посмотрим. Ну что, ты узнала про гонорар?

— Узнала. Говорит — просите сразу больше, соглашайтесь на меньше. Ну и плюс потиражные. А ты с переводчиком договорилась?

— Да, Генрих ищет. Говорит, к первому путеводителю интерес гарантирован. А Рюлова вчера читала мою повесть про черный жемчуг и рыдала. Ты одна меня не ценишь.

— Вот сейчас обидно было. Просто вы с Рюловой такие крылатые создания. Причем одна такая девочка-девочка. А другая — танк на крыльях.

— Мы с ним потому так и сблизились. Несмотря на все различия — возраст, гендер, национальность. Он тоже эмпат.

— Ах, это я одна такая неромантическая.

— Ах, я еще и танк.

— Ну да. У вас эмоции. А у меня радио все равно побеждает. Вот поэтому все вместе и можем делать самое интимное дело — сочинять.

— Тань. А если, не приведи Господь, и он заметит?

— Не заметит. Он привык к вниманию, все воспринимает как должное.

— Тань... Мы с ним плавали сегодня под дождем. Одни во всем море.

— Ты мне макет, который тебе из издательства прислали, кинула?

— Таня, ты даже не оценила, какая красивая фраза!

— Слушай, я за тебя рада. И я плавала так, и знаю, что это такое. Фраза красивая, но неверная — вряд ли не было людей во всем море.

— Рыбакова!!! Я не рассказываю. Я делюсь!

Я закрываю чат, чтобы не слышать дальше про макету, и вдыхаю этот невесть откуда, невесть за что свалившийся воздух счастья.

3.

На скамейке прямо напротив морского берега сидела немолодая женщина. Сидела она почему-то в позе китайского болванчика, а, впрочем, и по виду немного его напоминала. Казалось, чуть подтолкни ее маленькую крашеную головку, и она начнет качаться из стороны в сторону. Женщина только вчера приехала в Черногорию из Тамбова, прямо с утра вылезла на пляж, под палящее солнце, и теперь складки ее живота, которые спадали от груди до колен, как части детской пирамидки, являли собой чересполосицу красного и белого, плечи ныли, и крем в голубой бутылочке, купленный в киоске на набережной, не помогал. Но она все равно была довольна: десять дней в сказочном мире, окаймленном пальмами, синим заливом, парусниками, приплывшими из другой жизни, — все это потом можно будет пересказывать подругам по конторе даже без малейшего преувеличения.

Мимо скамейки шла пара.

Молодой человек, коротко стриженный, с легкой модной небритостью, которая взрослила его, и было видно даже ей, что побрейся он — и сразу станет выглядеть еще моложе, был одет в здешнюю купальную униформу,

с полотенцем, накинутым на шею, словно собирался выйти на ринг.

Походка у него была легкая и напористая одновременно, и именно она, а не полотенце, наводила на мысль о ринге — не спеша, чуть расслабленно, не оборачиваясь, но точно зная, что тысячи зрителей уже привстали на трибунах. Будь эта тетя из Тамбова поумнее, она бы заметила, что в профиль он напоминает короля Александра, — что удивительно, ведь у молодого человека совсем не было черногорских корней: чистый серб. Рядом с ним, с каждым шагом чуть отдаваясь, шла женщина, сразу видно — русская, и она была очевидно старше своего спутника.

Будь эта тетя из Тамбова побогаче, она бы сразу вычислила, сколько стоит этот холеный вид женщины без возраста. Но она даже не знала таких названий, как Мерано, где бы ее жирные складки растаяли бы под белой глиной, которую размазывал бы по ее усталому телу массажист, похожий на Ди Каприо. Ей было даже не представить ни изнурительных тренировок в спортзале, ни пластиковых коробочек с водорослями и цветной капустой, которые нужно съесть в машине между встречами, ни звонка от мужа: «Мне пришло извещение с карточки, что это было? Ты поменяла машину?» — «Нет, это счет от моего парикмахера».

Все: лазер, стоматолог, мелкие злые уколы по всему лицу, — все, чтобы каждый день ровно в 19.30 поднять глаза к монитору с суфлером, улыбнуться своей знаменитой

улыбкой и сказать: «Здравствуйте, мы снова в эфире!» А что теперь? Влажные волосы, волны вместо ласковых рук Ди Каприо и солнце на открытых плечах. Знала бы тамбовская тетя с блеклыми поредевшими кудряшками и фарфоровыми зубами, которая сидела, подвернув под себя короткие ноги, что она даже помладше будет этой женщины в легких светлых одеждах и с непереходящим средиземноморским загаром.

Они вдруг остановились. Молодой человек стоял к скамейке спиной, вполоборота к тете из Тамбова. Вблизи ей было видно, что ему где-то между тридцатью и сорока. Хотя, кто их, сербов, разберет.

А женщина в легком сарафане смотрела прямо на него. И тамбовская тетя ее видела полностью, словно сидела в первом ряду.

— Скажи, когда ты читал мои рассказы, — ну, те, где про наши путешествия, — ты отличал себя от персонажа?

— Конечно, отличал. Я — актер и для меня это нормально: различать, где я и где моя роль.

Актер! — Тетя чуть не подпрыгнула на своей скамейке. Как она сразу не догадалась! Такие красивые мужчины бывают только в кино!

— Понимаешь, — эта русская явно мялась, словно не решалась сказать что-то для нее важное. А может даже и болезненное. — Ты еще не все читал. Дело в том, что у меня сейчас идет текст.

— И что?

— Я хочу, чтобы ты отличал! — она почти выкрикнула это, хотя явно излишне, потому что он слушал внимательно и даже с некоторой подчеркнутой готовностью. — Чтобы ты понял, что это — не ты!

— Я что-то задел в тебе — и ты срезонировала. Я знаю, как это происходит, я понял! И что?

— Даже если он будет похож на тебя! Даже если у него будут твои привычки! Даже если он будет говорить твоими словами! Это все равно не ты!

— Я понял, понял. Не я. И что?

Тетя из Тамбова улыбалась блаженной улыбкой. Это же надо! Это прямо как в сериале! Но кто же эта женщина? Она сценарии пишет?

Женщина отвернулась, словно избегая смотреть ему в глаза. Тетя из Тамбова не видела ее взгляд, видела только, как он подался вперед, одновременно торопя и подбадривая, и в этом движении было столько силы и нежности, что у нее защемило сердце — никогда в ее тамбовской жизни, никогда у нее не будет — ни такого моря, ни такого солнца на открытой спине, ни такого мужчины.

— Я не хочу, чтобы это погубило наши отношения, — наконец сказала она тихо, но тетя на скамейке услышала. Еще бы. Молодой серб тоже услышал.

Услышал и рассмеялся: — Не бойся, нет, ничто их не испортит, поверь. Правда, даже не думай.

Он повернулся, чтобы идти, чуть замедлился, снова посмотрел в лицо своей спутнице и спросил:

— А о чем будет текст?

Она молчала, потом так же отвернувшись, не глядя в эти темные балканские глаза, ответила:

— О всех нас.

И они пошли дальше.

А тамбовская тетя осталась на скамейке. Будь она пообразованней, у нее бы уже крутилось на языке «... на пристани цилиндр и мех, хотелось бы: поэт, актриса...». Но ей это уже было лишнее. Она грузно поднялась со скамейки и двинулась к пляжу, держа на поднятом левом плече цветастую сумку. Она была довольна. Ну только ради этого стоило приехать в Черногорию.

Ты уедешь. И я, как одинокий ребенок, буду разговаривать с воображаемым другом. Сначала это будет твоя тень — потом, осваивая пространство моего воображения, эта тень, это отражение станет твоей ролью. И ты будешь покорно произносить все реплики, которые я напишу тебе. Я добавлю жест и поворот головы из другого фильма: там, где ты заходишь в спальню, не закрыв за собой дверь. Он будет петь, мой воображаемый друг, и твой голос станет его собственностью. Он заполнит мой мир, он станет собой, и когда ты окликнешь меня на улице, я обернусь — но не узнаю тебя.

4.

Рыжая Ася Штейн приехала в Будву на машине, взятой в аренду. Мы встретились на ступеньках торгового центра и сразу пошли к морю.

Когда я уехала из Москвы, то казалось, огромный город отплыл от меня, как континент, и я смотрела ему вслед, едва различая лица оставленной жизни. Голоса друзей неслись ко мне по всем видам связи и создавали иллюзию моего присутствия в московской кутерьме. Континент медленно, но верно дрейфовал все дальше от меня, и еще не рвались, но истончались те нити, которые вплетали каждый твой шаг в сжатую пружину московской жизни. Впрочем, они, эти нити, начали слабеть раньше, когда привычная жизнь последних «золотых» московских дней упорно подменялась новым глухим контекстом.

На наш теплый средиземноморский берег друзья-москвичи залетали часто. Сидя в наших кафешках и вытянув на песке босые ноги, они рассказывали о бурной московской-петербургской жизни, словно мы сидели в «Академии» на Кавалергардской, и все чаще мелькали уже незнакомые мне имена и события, смысл которых становился все более далек и скуден. Иногда вдруг как болезненная судорога сжимала сердце — представишь себя снова в вихре московских событий. «Нет, — говорят друзья, — вот той Москвы, из которой ты уехала, ее точно уже нет, за последние несколько лет все поменялось

так, как не менялось за десять...» И я слушаю отдаленную музыку из соседнего кафе, подгребаю босой ногой горячий песок и чувствую себя немного дезертиром.

Мы с Асей кидаем свои тряпочки на расстеленное полотенце, и моя подруга ловким движением человека, давно живущего на море, надевает купальник. Они с мужем живут в Москве, но в Черногории бывают часто. Каждый раз, когда Андрей пишет здесь свои романы, мы приезжаем к ним в гости и допоздна пьем вино в их гостиной, закусывая козьим сыром и глядя сквозь окно эркера, как зажигаются огоньки на другом берегу Боко-Которского залива.

— Что так меня разглядываешь? — сердито говорю Асе. — Да, после путешествий по Сербии у меня накопилось лишних пять килограммов. И все здесь.

— Да я вообще не на твой живот смотрю! Мне понравился цвет твоего купальника! И я же не говорю, что ты смотришь на мои кривые ноги!

— Где, в каком месте у тебя кривые? Покажи!

— Ну вот, — и Ася гордо выставляет вперед стройную, как у школьницы, ножку.

— Удивляюсь, — говорю, — как это Десницкий на тебе женился?

— А он не заметил!

Вот по чему я скучаю! — по этому быстрому звонкому московскому говорку. Только отбивай, как в настольном теннисе, маленькой ракеткой стремительный полет слов, событий, связей.

— Ася, пошли купаться!

И вот наконец мы стелим полотенца на деревянные стулья, солнце сушит наши купальники, и течет обычная болтовня давно не встречавшихся друзей: о новой свободе при выросших детях, об озерах Словении и колленке, которую Ася разбила, упав с самоката.

— Боже, ты же взрослая тетя. Уважаемый человек. Учительница! Упала с самоката.

— Да у меня колесо попало в щель между этой чертовой плиткой!

— Ася, ты надолго?

— Недели на две. Я сейчас новый курс пишу — история русской классической новеллы.

— Новеллы? — изумилась я. — Ты не поверишь, я как раз на днях об этом размышляла: кто сейчас пишет новеллы? Кто вообще помнит, что это такое?

— Вот и не так. Вполне живой жанр.

— А чем он отличается от рассказа? Или от короткой повести?

— Ну, тут грань размыта. Раньше вообще повестью называли все то, что покороче. А подлиннее — это уже роман. А новелла имеет очень жесткую структуру: должно быть действие и неожиданная развязка.

— Слушай, неожиданная развязка — это как раз мое. Получается, что я всю жизнь пишу не рассказы, а новеллы?

— Получается так.

Я смеюсь: я как Жорж Данден, который только что узнал, что говорит прозой.

— Ась, — я немного мнусь. — Я бы хотела с тобой посоветоваться.. У меня такое событие: текст идет. Эпизод за эпизодом. И замысел еще не проявился. Ты не посмотришь?

— А приезжай вечером!

Официант-«конобар» ставит перед нами два ярких бокала — мой апероль и Асин апельсиновый сок — она за рулем. Оранжевые краски так гламурно сверкают на солнце, что мы не выдерживаем, щелкаем на камеру и немедленно размещаем в фейсбуке нашу красивую жизнь.

— Тебе не кажется, что Андрей как-то совсем осторожность потерял? Он и всегда писал, что думал, но сейчас на этом фоне выглядит просто как отчаянный борец с режимом.

— А что ему бояться? Из всех структур, куда он когда-то был вовлечен, его давно выгнали, во все черные списки внесли. Печататься уже почти нигде. Буквально два-три ресурса осталось. Ну и фейсбук — наша песочница.

— Как сейчас в Москве?

— Самое главное — это впечатление абсурда. С одной стороны — невероятно бурная культурная жизнь: новые спектакли, невероятный Щукин в музее, книги, лекции.. А с другой, и в то же самое время, — автозаки, дубинки по голове..

— Слушай, — вдруг оживляюсь я, — так это готовый фантастический рассказ. Представь: модная гале-

рея, какой-то современный художник. На стенках типа инсталляции из проволоки и бутылок. Просторный зал набит народом. Все эти типажи — типа мизинчик в сторону, все такие гламурные.

— Легко, — Ася слушает, чуть щурясь на солнце.

— Итак. Стоят трое, типа обмениваются мнениями: «А вам не кажется, что эта линия за последний год приняла у художника..» — ну, как там.. черт, ну, пусть «квазиэкзистенциальный характер..»

И вдруг — хлобьсь! — а одного из них нет. Оставшиеся двое на секунду задерживают дыхание. И дама в лиловом продолжает в чуть убыстренном темпе: «но обратите внимание на особую подвижность манеры..»

Камера выхватывает другую группу, — что-то я неожиданно перешла на сценарий, — они добросовестно рассматривают картины: «Вот, посмотри, — говорит один, — видишь, как элегантно свернута проволока в правом углу..»

Хлобьсь! — и картины нет. Только пустое место.

Они на секунду замирают. «А не изволите ли канапе», — говорит официант, протягивая им поднос с креветками, изящно наколотыми тонкой палочкой на ровный квадратик сыра..

А вот и третья группа. В центре сам герой вечера. Он пьет шампанское и принимает поздравления. Все в восторге. Успех. Вдруг — хлобьсь! — и на нем нет штанов.

Он нервно сглатывает и быстро опускает руку с бокалом, чтобы прикрыть причинное место. Но стекло его только увеличивает, словно показывая им всем, как называется то, что с ними на самом деле происходит.

Ася хохочет.

— Вот, — говорит она. — Это и есть новелла! Тут тебе и мистика, и действие. Не хватает только неожиданной концовки.

— Изволь!

... И конобар меланхолично убирает с пустого столика два недопитых бокала — с аперодем и апельсиновым соком.

— Опять эти русские куда-то исчезли!..

5.

Что бы я изменила, если бы мне предложили начать жизнь сначала? Мне предложили. И оказалось, что изменить ничего невозможно. Жизнь вырастает из тебя, такого, как ты есть, сколько раз не бросай зерна.

Пять лет назад я начала жизнь с чистого листа. Пейзаж за окном и чужие люди вокруг — это еще такая малость, которую легко разбавить природным любопытством. Все, что ты знал и умел, все мелкие лесенки и переходы, да и сам фундамент твоего существования, вдруг распадается и как бы меняет места, — то есть твоя привычная картина мира становится похожей на портрет работы Пабло Пикассо: все смещено, и из хаоса линий вдруг воз-

никает смутный, еще не угадываемый тобой образ новой жизни.

Распадается не только пространство, но и время. Ровный поток, который нес тебя от детства через совершеннолетие в зрелость, превращается в коробку с детскими кубиками. Вот на этом кубике тебе четыре годика, и ты учишься говорить, старательно выговаривая три звука «Ч». А на этом кубике тебе семнадцать, — и ты только озираешься по сторонам, глядя, как живут взрослые — в мире, куда тебя только пустили. Кубик выкатывается откуда-то из 90-х — и я снова учу черноглазых учеников русской грамматике. А вот ближе, — моя первая короткая юбка, сшитая из шерстяного платка с бахромой, — я иду по набережной в платье, которое едва прикрывает купальник, как когда-то шла по длинному коридору Двенадцати Коллегий. Недобровольное возвращение в молодость, — я снова ничего не умею, некуда приткнуться образование и надо заново осваивать свое место в мире.

Я потом расскажу про первые два года, которые, как говорят эмигранты, вынь да положь, я сейчас про другое.

И вдруг обнаруживаешь, что из этого нагромождения снова выстраивается твоя жизнь. Разбросанные эмиграцией как взрывом кусочки твоей идентичности, словно притянутые каким-то гигантским магнитом, собираются в единое целое — и перед тобою опять ты. Ничего нового. Только платья стали легче и светлее.

Мне казалось, что я это уже умею: начинать заново. Малую эмиграцию я пережила, уехав из Петербурга в Москву, — вырванная с корнем из города, от которого не оторваться, втянутая могучим пылесосом московских страстей.

Тогда это тоже случилось вмиг: один телефонный звонок. Это выглядело так, как будто мне, актрисе городского театра, вдруг позвонил Роман Полански и пригласил в Голливуд. Да что там Полански! Слава человека, назовем его А.М., который вежливо спрашивал, не соглашусь ли я быть его партнером, затмевала тогда любой Голливуд. Он называл Петербург провинцией и носил, не снимая, черные очки, кожаную куртку с поднятым воротником и шапочку, опущенную до бровей. Но все равно с ним невозможно было пройти по улицам, спокойно поболтать в ресторане или просто сесть в поезд: что там девушки, — взрослые мужчины пробивались сквозь толпу вокруг него и робко протягивали руку, — только дотронуться до рукава. Даже нельзя было назвать его просто телезвездой: он был символом перемен, его считали самым красивым мужчиной на российском ТВ, и его голос вся страна слушала каждый день после программы «Время».

Мы спустились тогда с трапа, шли по узкому коридору аэропорта и уже видели, как впереди гудит и сверкает блицами толпа журналистов. И я вдруг почувствовала, как мне на спину легла его рука. Мы по-

дошли вплотную к десяткам камер и вспышек. И тогда он мягко, но сильно подтолкнул меня вперед: — Иди! Начинай!

Вот так тогда началась моя новая московская жизнь, она навалилась на меня как снег, как манна небесная, как море, в котором я, умелый пловец, ловко маневрировала своим парусником. Знаменитое десятилетие, когда казалось, что пусть ржавый, с налипшими ко дну ракушками, неповоротливый, громоздкий наш корабль медленно, неуверенно, но все-таки движется туда, где плещут европейские волны. А потом — еще несколько лет, когда не веря, упираясь, подшучивая, злясь, — наблюдали, как замирает ход и как мощное подводное течение, которое мы не замечали или не хотели замечать, снова относит нас туда, откуда, казалось, только что уплыли. Корабль скрипел, и с палубы смывало одно за другим все, что успели построить. Красивые лица на экранах сменились шутовскими, в кино показывали игрушечных солдатиков, а в новых студиях на Пятницкой закрывали программу за программой.

— Что будем делать? — спросила его, своего друга и партнера.

— Мы в этом не участвуем, — ответил А.М.

Вот тут, на Балканах, я узнала, что такое по-настоящему поменять жизнь. Поменять запах в воздухе, учиться

ходить по улице медленно, приноравливаясь к новому ритму, и не отшатываться, когда малознакомый человек кидается к тебе с объятиями, запоминать названия тоннелей в горах и долго подбирать украшения — московские здесь совсем не годились.

И я знала, что теперь, когда я выложила два года как плату за вход; когда я так привыкла к палящему солнцу, что в ванной на полочке стали один за другим засыхать крема от загара; когда чужая речь выжгла из моей головы все другие иностранные языки — дай Бог здоровья моему лондонскому акценту, — и когда в толпе этих дружелюбных лиц я начала различать сначала знакомых, а потом друзей, и вот тогда — я знала. Знала — должен был появиться и он. Красивый, знаменитый, в блеске рампы. И положить мне руку на спину. Мягко, но уверенно подтолкнуть вперед: — Иди! Начинай!

— Ты не представляешь, как я тоскую по всему этому. Просто ломка. Как у наркомана. Я даже какую-то пустяковую программу на местном радио взяла. Раз в неделю. Наушники надела и чуть не заплакала.

— Но почему, почему ты от всего этого отказалась?

— Я от всего отказалась... Да и возраст. Пусть меня зрителя запомнят молодой и красивой!

Он нагнулся над столом, чтобы совсем близко заглянуть мне в глаза:

— Да все это вообще не причем! Главное — жизнь, чтобы в тебе была жизнь! Витальность!

Он откинулся на стуле и смерил меня взглядом:

— Это только твое решение. Я же видел, как ты держишься перед камерой.

Тогда, в Белграде в «Трех Шестирах», на съемках этой простенькой сцены в ресторане, вдруг, как из ниоткуда, появилось и стало нарастать чувство совместного движения.

— Я видел, как ты держишься перед камерой, — он стоял под дождем на бульжной мостовой, на его мокрое лицо падал свет старинного фонаря — и я не слышала в своей жизни лучшего объяснения в любви.

6.

— Рюлова, как он всегда говорит именно то, что я хочу услышать? Он словно видит что-то во мне. А потом осторожно касается пальцем — чуть-чуть — и я отзываюсь на это всем своим существом.

— Лена! Он актер, он эмпат. Он просто зеркалит тебя.

— Ты хочешь сказать, что он просто отражает мои чувства? Что у него нет своих?

— Ну, какие-то есть. Ему интересно. Иначе что бы он с тобой рядом делал все это время. Но это не то, что ты думаешь. Здесь нет понимания — только зазеркалье.

— Ты договоришься до того, что его вообще нет. И что я просто разговариваю со своим воображаемым другом.

7.

— Это, конечно, против всех моих убеждений, это не профессионально, но я не мог... Я снял... нет, записал не в студии, так... я спел тебе. Вот, сейчас пришло.

Он говорил немного смущенно. И было неясно, что именно его тревожит: то ли то, что голос не звучит как живую, то ли то, что все это звучит слишком лично.

... Не дам ветру да те дыра, не дам кише...

Если бы кто-нибудь хотел собрать в одно целое все мои тайные желания, несбывшиеся ожидания, видения, в которых не смела признаться и самой себе, — он не мог бы придумать лучше, чем вывести на опустевшую сцену моей жизни этого человека. Подарок — остроумный, изящный и — безопасный. Как игрушка для ребенка, на которую он долго и вожделенно смотрел, отираясь у прилавка игрушечного магазина, — игрушка, о которую не порежешься.

Я давно догадалась, откуда это. Я узнала мягкую и ласковую усмешку человека, который теперь мог говорить со мной только издали, чуть-чуть, осторожно поправляя линии на моей ладони.

Спустя месяцы после похорон жена моего брата решила разобрать его стол. В самом углу, в маленькой бархатной коробочке лежало кольцо с голубыми камнями. И маленькая приписка — «Лене на др». Я открою

эту коробочку и надену кольцо ровно тогда, когда он и хотел.

8.

Вот чему я уже научилась на Балканах — это не суетиться. Не гнать, как в Москве, время — вперед, отбрасывая все без оглядки, — проехали, летим на новую встречу, новые люди, скорее, что успел за день, три телефона, мессенджер и по дороге еще заскочить в ГУМ. Здесь, как в замедленном кино, как в детстве на даче, время медленно подкатывается к тебе морской волной, и ты тянешь вино, глядя, как ковш Большой Медведицы почти касается холмов, черная лунный свет и запах розмарина, и не стрелка отсчитывает мгновенья твоей жизни, а звон цикад.

Мы плывем по теплым волнам. Останавливаемся, раскидывая руки, и плавно качаемся, лежа на спине и подставляя солнцу и брызгам свои лица. Потом снова плывем, он уходит вперед быстрыми и сильными движениями, куда-то к буйкам. Возвращается, стряхивая с лица воду, что-то рассказывает, прерываясь, ныряет. Мы говорим что-то необязательное, и иногда я даже и не слышу, чуть оглушенная плеском волн, но слова сплетаются, как брызги, и уже неважно и неясно, кто что сказал. Я плыву медленно, впитывая в себя каждую секунду: камни старой крепости на берегу, и открытый сияющий горизонт, и кораблик с игрушечной трубой

и синей полосой по борту, и теплую ладонь солнца на своей макушке, и ловкие движения пловца, который кружит вокруг меня, и узкую улыбку на мокром лице и этот темный балканский взгляд. Нет, не надо ничего останавливать, пусть так же неторопливо перекатываются эти мгновенья, они уже все — мои.

— Слушай, вот только перестали разговаривать, я почувствовал, что замерз.

Мы озираемся — а где мы? Куда мы заплыли? Я уже и буйков не вижу.

— Наверное, мы уже в Хорватии.

— Что будем делать?

— А поплыли дальше, в Дубровник.

Это потом станет нашим мемом — плыть в Дубровник.

— Извини, я не ответила на твой звонок. Я плавала.

— В Дубровник?

— Нет. В Дубровник только с тобой.

— Ты на море. А я на берегу Дуная.

Чего я еще теперь умею? Я умею не думать о последствиях.

Лето было совсем маленьким. Да что там говорить — спасибо, что вообще выпали нам эти семь дней.

Мы все время говорим. Это такое известное возбуждение, когда только что закончено большое дело, и вроде

уже ничего не надо делать, и кажется, что все еще тут, в твоих руках, и ты можешь что-то изменить или добавить, да и даже без этого отголоски нашего большого путешествия еще так живо звучат в головах, что мы продолжаем перебирать их, словно смакуя самые вкусные кусочки.

Мы идем по тропинке вдоль ущелья, поросшего кустами. Внизу бьется горная речка. Мы останавливаемся, и он машинально срывает с куста ягоды, я даже не знаю, что это — маленькие, пушистые, красные. И я осторожно, чтобы не коснуться, беру по одной с его протянутой ладони.

Каменные ступеньки ведут вниз, к берегу, к маленькой устричной ферме, где работает моя приятельница. Я держусь одной рукой за веревочный поручень и спускаюсь медленно, чтобы не соскользнула нога в мокрых босоножках. Деревянные столы под навесом, ржавое кольцо у маленькой пристани, лодка и длинные ряды натянутых к горизонту канатов с буйками, где растут гроздьи устриц. Нам их выносят на деревянном подносе, они переливаются жемчужным светом и пахнут морем.

— Смотри. Они еще живые, — он чуть дотрагивается до перламутрового тельца, и оно вздымается, будто вздыхает.

Марина, моя приятельница и хозяйка фермы, ставит перед нами бутылку белого вина.

— Я же за рулем.

— Да и мне столько не выпить.

— Пусть стоит.

Волосы липнут ко лбу, мокрое полотенце, накинутое на плечи, сохнет, не давая свежести.

Летнее счастье тел, укутанных в облако жара.

Спросила как-то своего друга, такого же эмигранта-москвича: типа, если бы все наладилось, и можно было бы нормально работать в Москве, вернулся бы? Он подумал, пожевал губами, а потом ответил честно, — он же мне друг, Марат: «Я больше не хочу ходить одетым».

Горячие камни, песок.

— Давай немного посушимся и пойдем выпьем кофе.

— А заодно и попробуем прочесть текст.

У меня в корзинке, как у Красной Шапочки, всегда припрятаны пирожки.

Вкус соли во рту, белое солнце над головами и балканская нега в каждом движении.

— Хочешь, скажу тебе, как я себя чувствую, когда я с тобой?

— Не говори! — он приподнялся на локте. — Потому что я знаю.

— Ну и как, по-твоему?

— Как с лучшим другом.

В подчеркнутом слове «лучшим» прозвучало вдруг нечто грузинское. Вообще чем-то балканцы с ними, с грузинами, схожи, — наверное, ярко выраженной мужской сущностью.

— Это так, — легко соглашаюсь я на друга, причем лучшего, — но есть еще кое-что.

Он откидывается назад и закладывает руки под голову, словно устраивается поудобнее в партере, чтобы прослушать монолог примы.

— Когда я с тобой, — намеренно тяну я, чтобы дать ему больше простора для размышления, — когда я с тобой, я чувствую себя школьницей, сбжавшей с урока.

Он хохочет, снова садится и не дает мне продолжить.

— Это потому что я — школьник!

9.

Рюлова просыпается в четыре утра, поэтому первая реляция настигает меня еще в постели. Впрочем, я обычно тоже в это время уже сижу на балконе и глядя, как бледнеют и гаснут уличные фонари, пишу вот этот самый текст.

— Мне к врачу сегодня, — скорбным голосом сообщает она, — и я боюсь.

Вот когда боится Рыбакова, на нее можно прикрикнуть, а можно перечислить список отсутствующих органов, без которых я свободно обхожусь уже много лет, и даже пошутить.

— Дай мне хоть немного попаниковать, — скажет Рыбакова и будет писать длинные письма в мессенджер с детальным описанием всех анализов и их неутешительных результатов.

— Не горюй, — скажу я, — если надо будет ехать оперироваться в Белград, я поеду с тобой. Снимем квартиру, и у меня будет повод бегать на свидания.

— А как ты своих оставишь? — спросит подозрительно Рыбакова, а я отмахнусь — они поймут.

С Рюловой так нельзя. Я попробовала как-то, глядя на ее головку, вжатаю в воробьиные плечи, иронично заметить — болит? У всех болит, подруга. Это нормально.

И только хвост цветастой юбки мелькнул на веранде. Она кинулась к машине, что-то бормоча и всхлипывая, а я в ужасе бежала за ней. — Куда ты в таком состоянии! — И звонила Рыбаковой в Будву, где она торчала на моем балконе с видом на Адриатику, сама отходя после болезни.

— Успокойся, — говорила мне Рыбакова, — она вернется быстро, проходили уже.

Она и правда вернулась быстро, и я стояла на веранде в запахе сухой травы и смотрела, как она закрывает машину, проверяет там еще что-то, явно оттягивая момент, когда ей надо будет наконец поднять ко мне заплаканное лицо и признать, что побег не удался.

— Слушай, — у меня от страха тряслись все поджилки, — слушай, так нельзя.

— Это со мной так нельзя. Это со мной так всю жизнь мама разговаривала. Твои страдания ничего не стоят, и нечего тут сюсюкать. А мне всего-то надо уткнуться во что-то теплое и плакать.

— Рюлова, — торжественно сказала я, — мой живот всегда в твоём распоряжении. Плачь.

И она заплакала.

10.

Эмиграция выжигает нас. Или мы уже приехали сюда такие?

Я помню случайные строчки, они так и засели в памяти, напечатанные на желтом листике, полуслепая копия, обтрепанные края, Юлия Вознесенская, — нет, не помню, не буду врать:

... Мы уедем отсюда на какой-то по счету волне.

Не любовь нас зовет, это ужас нас гонит из дому...

И еще помню, это уже точно из Галецкого:

— Что ждет нас, что, какие берега
приятном станут для глаз усталых...

И вот мы здесь, на Балканах. Кто в Сербии, а кто и в Черногории. Нас сюда не звали.

— Рюлова, я знаю, ты не любишь сравнений, но со мной было ничуть не лучше.

Осень в Белграде — хуже нет, это я про позднюю осень, уже почти зиму, когда тротуары застланы мокрыми листьями, моросит дождь, и серые фасады, которые в доброе время года укрыты за высокими платанами,

бесстыдно оголены до каждого пятна осыпавшейся штукатурки. Я шла на работу по неровной мостовой, и, держась за перила, спускалась по скользкой лестнице, по выщербленным ступенькам, которые вели мимо автобусной остановки к рынку. Мне надо было пройти немного: расстояние для москвички и вовсе плевое, ну, минут 15 от силы ходу, и по дороге меня ждал оазис покоя — гостиница «Прага» с кожаными креслами, где я выпивала чашку кофе перед последним переходом к месту службы. Иногда, только выйдя из старомодных дверей отеля, с трудом боролась в себе желание лечь прямо на тротуар, на мокрые листья, свернуться в позу эмбриона и заснуть.

Два года спустя, в один из частых своих приездов в уже возлюбленный город, я случайно оказалась на той же улице. Свернула к автобусной остановке и начала спускаться по лестнице, как вдруг резкая боль в животе схватила меня, да так, что я согнулась, едва удержавшись за перила рукой. Вот как долго и крепко связаны между собой место и боль.

Бесмысленная работа, чужой язык и потери. Потери уже невозможно было даже сосчитать.

А главное, я перестала писать. Выходили и издавались книги, я барабанила каждый день в фейсбуке, словно пытаясь удержать распадающиеся связи, еще дышал где-то внутри последний роман, — я же не утратила ремесла, я правила, редактировала, адаптировала его для детей и для сцены, — видит Бог, за эти

три года, я писала не покладая рук. Но это все было ремесло.

Ни одной толковой строчки за три года. Нет, был один текст, небольшой, но стоящий. Мне ведь лучше всего удастся фиксировать эмоции. Вот я и зафиксировала. Тоска, ностальгия, бесплодие. Рассказ я назвала «Скитница». Хорошее название. По-сербски так называют бродячую собачку. История о том, как я ее не подобрала. Куда мне? Кто я сама такая, если не скитница. Запомните это слово, оно еще отзовется в этом повествовании, оно еще ударит меня в сердце.

А я и смирилась. В конце концов, кто в русской литературе продолжал писать, оказавшись в эмиграции? Только Набоков и Бунин. Набоков разорвал связь, а Бунин только ее и беребил.

Да, смирилась. Контракт, по которому я год отработала в Сербии, бесславно завершился, и я, уже переехав на берег Адриатики, в Черногорию, в Будву, еще три месяца просыпалась со счастливой мыслью — мне не надо идти на работу.

11.

Маленький городок-хамелеон, который зимой впадает в анабиоз. На пустынных улочках у старой цитадели редко встретишь прохожего в куртке с приподнятым воротником, в маленькой церкви на мозаичном полу дремлет дракон, а на берегу открыто только одно

кафе, и ветер несет на крытую веранду соленые брызги. Весной вдруг, как по команде, деревья покрываются цветами, — аромат цветения разлит по всему городу, словно кто-то опрокинул фиал с драгоценными духами. Наступает лето и словно кто-то нажимает на переключатель — и ты, не садясь в самолет, оказываешься на галдящем курорте: в лавчонках развеваются паруса белых сарафанов, по синей глади снуют кораблики, и темная перезревшая смква разваливается и тает в руках, — едва успеваешь донести ее до рта. И вот наступает благословенный сентябрь. Туристы разъехались, а лето еще медлит. И весь город — наш. Можно лежать вечером прямо у кромки прибоя, лениво перекидываясь словами и потягивая белое вино, разбавленное минеральной водой. А потом неторопливо заходить по пояс в воду и нырять, не рискуя столкнуться с чьим-то надутым лебедем. А потом снова зима, с моря дует ветер, он приносит из Сахары желтый песок, и по утрам надо стряхивать песчаный налет со стульев на террасе. Штормовые волны бьются о старую крепость, рассыпаясь на брызги. В полупустых кафе можно сидеть часами с одной чашкой кофе, читать и слушать, как порывы ветра гонят на берег прибой.

Редкие поездки в Белград, еще реже — домой в Петербург. Две книги в год, архивы королевского дома, и медленно раскручивающееся колесо новой жизни.

Слава, как это всегда бывает, обрушилась на нас словно летний ливень.

— Ты смотрела утром телевизор!?! — кричала в трубку Зорана, моя белградская подружка. — Ваш путеводитель объявили книгой года!

Нет, не то чтобы для меня это было в новинку, — скажем так, без ложной скромности, — но вот на этом месте, в это время и именно с этой книжкой в руках, мы с Рыбаковой никак не ожидали.

Книга-эссе, где между Таниных точных наблюдений и моих художественных изысков уже начало прорасти и захватывать это удивительное чувство балканского счастья.

Книжку дарили друг другу президенты, журналисты называли визитной карточкой Сербии, а читатели путешествовали по стране с книгой в руках, страница за страницей.

— Скажи, — а что ты чувствовала, когда первый раз приехала в Белград?

— Я чувствовала, что я добежала.

— Я договорился со Стойке, мы сделаем нормальную студийную запись песен через пятнадцать дней.

— У нас достаточно времени, все успеваем. Но хорошо, что ты вчера прислал эту запись. Правда, хорошо.

Я переволновалась, когда Асе Штейн текст показывала. Немного дыхание сбилось. И тут эта песня... Как обычно, сработало, спасибо.

— Да не за что совершенно! Если тебя что-то мотивирует, ты только скажи, я сделаю... А что Ася сказала?

— Ася назвала это — «Декамерон».

Он помолчал, подбирая слова, а потом спросил участливо, словно у постели больного:

— А на какой ты главе?

— На девятой. В двадцать восьмой ты заболеешь.

— Не я. Персонаж.

— Спасибо, что помнишь.

— Тань. Представляешь, в Галину машину такси врезалось. Она сама в порядке, а машина разбита.

— Слава Богу, сама цела. Но какие для нее расходы и шок!

— И так все на живую нитку. И муж уехал.

— Но, если виноват тот, кто врезался, ей должны по страховке платить.

— Видела я этого мужа.

— Правда, выплачивают не скоро.

— Знаешь, как у нас в Питере говорят, муж обьелся груш.

— Она и так бьется изо всех сил, и тут такая подножка, и эту страховку так долго ждать.

— Извини, но я не понимаю, как женщина может жить без мужчины. Мне всегда было нужно как минимум два.

— Тебе везло на мужчин, которые решают твои проблемы. А мне — на мужчин, которые добавляли мне свои.

— Я таких выбираю. Вот посмотри: восторги — восторгами, а этот балканский красавец решает мне мою главную проблему.

— А какая у тебя главная проблема?

— Моя главная проблема — я и Балканы. Или я на Балканах. Или Балканы во мне. Называй как хочешь. Но он это решает для меня.

12.

— Рюлова, что я буду делать, когда дойду до постельных сцен? Срочно выздоравливай, заводи любовника-серба, и будешь делиться впечатлениями.

— А что сразу я? А сама?

— Ты в уме, подруга? Я замужем. Прикинь, как это я буду делиться впечатлениями?

— Иди сюда, — зовет Рюлова, я неохотно оставляю веранду с видом на косогор и перемещаюсь в накуренную кухню, — смотри, что я нашла! Проморолик твоего серба.

Рюлова так близко наклоняется к экрану, что кажется, сейчас упрется в него носом. При мне бы хоть очки надевала.

— Нет, ты только приготовься заранее. Повторяй за мной — это не он. Это не он. Это сценический образ.

Камера берет его сзади, со спины, медленно наезжая на его отображение в зеркале. Чуть небрежен. Рубашка расстегнута, и он медленно проводит ладонью по открытому вороту, словно примериваясь к чему-то. Модная темная небритость, как рамка, придает лицу картинность. Камера приближается и дает крупный план: чуть презрительный взгляд из-под полуопущенных век, он закуривает, продолжая внимательно рассматривать в зеркале каждое свое движение, как магнитом притягивая и заставляя зрителя переводить взгляд от этих темных глаз вниз, к узкой улыбке, которая бежит по губам, не задерживаясь и возникая снова.

— Это же догадаться снять его черно-белым! Он выглядит как артист из немого кино. Какая-то стилизация — Серебряный век, «Бродячая собака», сейчас он обернется и вынет из ящика дуэльные пистолеты. Гумилев. «Здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилев».

— Нет. Это скорее 20-е. Князь Юсупов в Париже. У него в ящике не пистолеты, а кокаин.

— Или нет, посмотри, как он вынимает изо рта папиросу — двумя пальцами: это Одесса. Конец 20-х. Чистый Бенья Крик. Идет брать банк.

— Нет! — кричит Рюлова. — Ты еще не видела последний кадр. Смотри!

Он заходит в комнату, не закрывая за собой дверь. Поворачивается спиной к постели и — нет, он не ложится, не падает. Он словно отпускает себя, — и доля секунды свободного полета.

— Обрати внимание: как подвернулся край рубашки, — небось, долго тренировался. И медленный небрежный жест рукой, словно не поправил рубашку, а стряхнул с себя возбужденные взгляды.

Поворот головы, и камера уходит.

— Эротичненько, — вздыхает Рюлова.

— Ну да, — это уже вступает грубая Рыбакова, — и голос сексуальный. Надо, чтобы он озвучивал наши тексты.

— Слушайте, мы его так разглядываем, прямо даже неловко...

— Ты чего, можно подумать, мы в замочную скважину — это проморолик. Понимаешь? Проморолик. Который он сам выставил в ютьюб, чтобы его все разглядывали.

— Ну, да, как обычно. Все на продажу.

— А как же! Он продает этот томный взгляд. А ты — слова.

— Какие слова, Рюлова! Ты даже не представляешь, как я распалю себя, когда пишу! Реально первый раз в жизни пишу всем телом. Когда завершаю сцену, я полчаса хожу по комнате, чтобы успокоиться.

— Ничего себе. Я много занималась телесными практиками и иногда прямо перед своими текстами их делала, чтобы писать из состояния «себя». И ничего не получалось.

— Да мне уже даже все равно, что получится! То, что я испытываю сейчас, это оправдывает и придает смысл всему, что со мной произошло. Это круче секса.

— Алкоголь не пробовала?

— Конечно. Но не с утра же!

— Иди поплавай на море. Или того лучше — езжай на остров. Там пахнет хвоей и такие огромные и красивые деревья.

— Вот, подруга, теперь у нас есть мечта. Поедем вместе на остров.

— Ведь если мне эта операция поможет, я же смогу добраться до Будвы в сентябре?

— Все там будем, Рюлова.

13.

Когда я первый раз ступила на главную пешеходную улицу Белграда и двинулась навстречу людскому потоку, я вдруг почувствовала, словно иду внутри какой-то киношной массовой. А как и для чего можно было бы собрат на одной улице столько красивых мужчин?

Откуда это в них? Почти безупречные черты лица и античное сложение, — ни капли женственного, но та-

кая мягкая грация сильных движений, что кажется, замри он на секунду, — и срочно потребуется Пракситель. Наверное, оставили здесь свой бурный след римские легионеры... Впрочем, что такое мужская красота — это всего лишь ярко и настойчиво выраженная мужественность.

— Чем сербы отличаются от нас? — сказал мне старый чиновник, отсидевший в Белграде десяток лет, наливая себе в стакан ракию из пластиковой бутылки. — Да такие же славяне, как и мы. Только их не били, не убивали и не унижали.

Часто думаю, что те, кто принимал решение бомбить Сербию, даже не понимали, с кем они имеют дело. Эти — не простят никогда, с ними невозможно будет договориться, их нельзя сломить силой, они вон свое Косово поле пятисот лет помнят...

— Все хорошо, — заметила Рыбакова, — только иногда они стреляют друг в друга.

— Знаешь, когда двое вооруженных мужчин стреляют друг в друга, это не лишает их сексуальности. В конце концов, война — это мужское занятие. Вот наши, русские, сто лет назад поделались на палачей, которые мучали безоружных людей, и жертв, которые безропотно шли на убой. Последние русские мужчины как раз и похоронены здесь, в Белграде, в некрополе русского белого офицерства.

— И они были так же красивы?

— А ты посмотри на их портреты.

— Самое смешное, что теперь в кино на роли русских дворян приглашают сербов.

— А где еще остались славяне, которые умеют держать спину?

14.

— Ася, со мной что-то странное происходит. Реально физически больно. Напишу сцену, — скручивает живот, колотится сердце и трясутся руки. Что это со мной?

— Это роды. Дыши, как на схватках.

— А разве так бывает? Есть описанные случаи?

— Лично наблюдала. Это психосоматика. Ты же книгу рождаешь. У мужчин это проявляется в форме сексуального возбуждения, а женское тело — что помнит? Роды. Вот оно и имитирует родовые муки.

— А что это означает?

— Что у тебя были какие-то очень глубоко загнанные чувства, ты буквально физически их в себе зажимала, а теперь выпускаешь. Снимаются мышечные зажимы, это физически очень больно.

— Ого!

— А что ты хотела? Любое настоящее творчество — это всегда больно.

— Ну, теперь, по крайней мере, знаю, чем занимаюсь.

— Если симптомы будут нарастать — вызывай скорую. А пока попробуй дышать, будто арбуз вниз закатываешь.

— Попробую. Спасибо тебе.

— Да ладно. Я и не занята совсем. Лекцию про моду слушала.

15.

Легла на пол, потушила лампы. Только из открытой балконной двери льется нежная лунная дорожка. Вдох-выдох. Выдох вдвое длиннее вдоха. Арбуз катится вниз. А потом снова медленно поднимается вверх. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Боль ходила волной, затихая, как прибой после шторма.

Надо попробовать отвлечься, сменить пластинку, переключиться на что-то другое, спокойное, чтобы не нужно было жечь, как в топке, свои эмоции. — Это Ваал какой-то, — подумала я, — жерло, которое питается моими чувствами. Теперь еще и схватки. Уж лучше бы сексуальное возбуждение. Уж это-то мое тело точно не забыло. Вдох-выдох.

Следующую главу лучше сделать повествовательной. Просто рассказать, как все случилось.

Я закрыла глаза, и вдруг в моей голове возникла коробка. Она напоминала маленькие макеты декораций к спектаклям, которые были выставлены в стеклянных витринах в холле Мариинского театра. Я любила рассматривать самую большую из них — копию зрительного зала, со всеми голубыми креслицами, золотым бельэтажем и царской ложей. Она была неизменна и служила,

видимо, для того, чтобы каждый, кто покупал билет, мог сразу понять, где именно находится его место. Помню сцену из оперы Дон Жуан — маленькую фигурку в черном плаще и дом с балконом.

Так вот, моя коробочка представляла собой Танин дом в Лознице. В нем было всего три стены, там стояла маленькая, как в кукольном домике, мебель, и она светилась, как фонарь на темной улице. В ярком электрическом свете по ней двигались маленькие фигурки. Было не различить, что именно они делают, но они были настоящие.

— Господи, — ахнула я, — сподобилась! Это же у Булгакова была такая коробочка в Театральном романе, когда он первый раз в жизни начал писать пьесу! Неужели я и вправду писатель? Русский писатель.

Я лежала на полу в темной комнате, повернув голову к балконному стеклу. Вдали темнело море, и огромный звездный ковш клонился к черным горам. А в голове у меня светилась книга.

16.

Итак, слава обрушилась на нас как летний ливень. Мое улыбающееся лицо снова замелькало в новостях, а Таню начали узнавать на улицах ее маленького городка. Я практически переселилась в Белград, а Таня моталась каждый божий день из своего захолустья в столицу

и обратно. С застывшей прической, в новом костюме, непривычно покрашенная, она сидела в студиях, отвечала журналистам на своем бойком и корявом сербском, а потом выводила из гаража на Зеленом венце машину и гнала в свою деревню, буквально наваливаясь грудью на руль, не останавливаясь у придорожных закусовых и время от времени покрикивая на меня: — Лена! Не мешай, не отвлекай меня!

У нее умирала мать.

Уж не знаю, какие матери вышли из нас, — но наши войдут во все учебники по психологии. Таня представляла собой классический пример женщины-сэндвича. С одной стороны ее поджимал все еще не устроившийся в жизни сын, а с другой — припечатывала мама, которая стала ее подопечной.

Таня мчалась на машине, нарядная прическа распалась и падала на лицо, а съеденный на бегу бурек стирал помаду.

Маму нужно было перевернуть, помыть, накормить и успокоить. А утром снова сесть в машину и гнать в Белград. Славу приходилось ковать, пока она была горяча.

— Да, — говорила Татьяна, листая публикации, — на таких рекламных агентов нам бы никаких денег не хватило.

Книжку читали министры, передавали из рук в руки знаменитости, на встречи с читателями набивались полные залы. Мы ходили ошарашенные.

Танин дом зимой отапливается пеллетами. Черт знает, что это такое — что-то прессованное, что они закупают в своей деревне грузовиками. Три холодных месяца съедали силы, деньги и тепло. Сказочный дом, весной разгорающийся розовым яблочным цветом, летом полный запаха травы, а осенью — стука падающих груш, зимой выматывал силы и надежды.

— Таня, — говорила я, — мы не можем писать только для заработка. Нам нужно что-то еще, что привяжет нас к этому месту. И Рюлова скоро обладает со своей недвижимостью. Если мы не восстановим класс, то нам останется только кормить перепелок.

— Мы никогда не сможем здесь работать, как в Москве. Здесь нет среды, нет гонки, нет, самое главное, читателя.

— А и не надо, как в Москве. Мы теперь здесь, на Балканах.

— Тогда это должны стать другие мы.

— А это ты где?

— А это я прямо напротив дома, где живу в Петербурге. Это Крюков канал, справа — Никольский собор. С этого места, где я стою, можно одновременно увидеть восемь мостов.

— Немыслимо красиво. Но, наверное, холодно.

— Видишь, какая я зимняя. Метель кружит вокруг меня. Приживусь ли я в вашем лете?

— Что значит «приживусь», я не понял?

— Это когда дерево, или куст, или цветок вырывают с корнем из земли, где оно выросло, и переносят на другую почву. Оно может дать новые побеги, ветви, плоды — прижиться. А может и не прижиться.

— Уже прижилась.

Стенка над маленьким столиком в спальне пестрит желтыми наклейками с сербскими словами, а балкон в комнате, где живет и умирает Танина мама, увит розами.

Она уже не узнает дочь. У нее осталось только одно — привычки командовать и принимать все как должное. Когда Таня уезжает по делам, то за мамой следит соседка, Стая, и Таня никак не может привыкнуть, что есть кто-то, кто ей ничего не должен, но почему-то рядом и помогает. «Это Сербия», — говорит она. Она начинает любить эту странную страну, где ее мать прожила четыре года вместо обещанных московскими врачами четырех месяцев.

Таня научилась замораживать огромные куски свинины после «свинокбля», в морозильнике у нее хранятся красные ягоды, а в гараже — банки с зимницей. Кот Никифор, провожая зелеными глазами вакханалию заготовок, время от времени лениво встает, исчезает в кустах, снова возвращается и кладет у ног хозяйки свой «добринос» — маленького белого кролика.

— Послушай, у нас уже столько накопилось впечатлений, давай запишем, — говорю я, верная своей привычке — чем я хуже Таниной мамы — раздавать указания.

На ярмарке «Книга» в Белграде, где я показываю переведенный на сербский сборник старых рассказов — нет, нет, там есть один новый, та самая «Скитница», — я заговариваю на эту тему с издателем, и он предлагает сделать путеводитель.

— Давайте я напишу о Черногории, я ведь там живу уже четвертый год, — предлагаю я.

— Лена, — отвечает мне этот опытный человек, — зайдите в любой книжный магазин, пройдитесь по отделу путешествий. Что вы увидите? Да, именно. Там будет пятнадцать путеводителей по Италии, десять по Англии и пять по Черногории. И ни одного по Сербии. Так что давайте с него и начнем.

Долгими зимними вечерами, когда Таня сидела в своей деревне, в похолодевшем доме, на единственном теплом месте — на кухне, а я слушала как «юго» — ветер, пришедший со Средиземного моря, мечет по балкону стулья, — рождалась книга о теплой, веселой и прекрасной Сербии. О Сербии нашей мечты. Такие зимние, приживемся ли мы в этой летней стране? Книга — прижилась.

Танина мама умерла тихо. Таня распахнула балкон, и красная роза обвила высокие перила.

Вот тогда мы и придумали наше большое путешествие.

17.

Если бы я писала сценарий — я, правда, до сих пор не знаю, что я пишу, но точно не сценарий, потому что сценарии у нас пишет Рюлова, — так вот, если бы я писала сценарий, то следующий эпизод выглядел бы так.

Утро в Белграде. Ма́гла. Так здесь называют густую дымку, которая ложится на город, на тихую Саву, на Бранков мост, на кроны платанов и пустые балконы. Наш герой просыпается. Он скидывает простыню, садится на край кровати и долго трет лицо руками. Встает, медленно и неохотно двигается в ванну. Старая белградская квартира. Я не знаю, как выглядят старые белградские квартиры, но мне кажется, что так же, как и петербургские. По крайней мере, у них в домах тоже парадные, а не подъезды. С широкими мраморными ступенями, низкими подоконниками, сетчатыми лифтами с неплотно прилегающими другу к другу деревянными дверцами... Он идет по квартире, старая мебель — мы бы сказали «мебель из дворца», но как это перевести на сербский? — какие-то шкапчики, книжки, фарфоровые безделушки, салфеточки. Он наливает из кофеварки

кофе в большую кружку и подходит к окну. За окном — сосны. Крупный план. Мятая со сна майка. Нет. Пусть без майки. Пусть зрители полюбуются на обнаженный торс. Он ведь по сюжету на пляж больше не попадает. Впрочем, нет. Это плохая идея. Пусть майка, чтобы ничто не отвлекало от лица. В этом утреннем лице нет блистательной молодости. Видно, что он устал. Рот кривит недовольная гримаса. Он пробегает глазами буквы на экране телефона, равнодушно нажимает какую-то клавишу и бросает телефон на стол. Проводит тыльной стороной ладони по щеке.

Звонят в дверь.

— Рюлова, дай ему какую-нибудь реплику. Он не может так долго молчать!

18.

Сценарий называется «Рискованные связи». Этот бесконечный сериал, который уже четыре года держит рейтинги на своем канале, глотает диалоги как удав.

Режиссер и продюсер разговаривают, будто меня нет в комнате.

— Я все программы с ней просмотрел. Понимаешь, возраст не скрыть.

— Сделай из него преимущество, — отвечает продюсер.

— В ее возрасте женщины по виду делятся только на два типа: обозленные тетки с напряженными лицами или вечные начальницы с броневым бюстом.

— Интересно, — я даже телефон отложила, — а у меня какой вид?

Все поворачиваются, будто наконец замечают, что я тоже здесь.

— У тебя, — Никита смотрит на меня, чуть откинувшись в кресле, словно лорнируя, — у тебя — человеческий.

— Вот это, — продюсер демонстративно поднял палец, — редкий товар. Его и будем продавать.

Часть 2 НО ЛЮБОВЬ ИЗ НИХ БОЛЬШЕ

19.

Наверное, дело было в том, что мы оказались в Ленинграде совсем одни. А ведь в школе мы даже не сидели за одной партой: Валдис и вовсе учился в параллельном классе. Это его младшая сестра Лайма как раз сидела за одной партой с моим братом. Отцы наши служили вместе, и жизнь в маленьком военном гарнизоне на берегу Тихого океана была тесная. Пару сотен ребятишек — детей флотских офицеров — учили в одной школе. На лето всех отправляли в бухту Врангеля, где мы жили в палатках, ходили строем в гюйсах и пилотках и пели про «Варяг». Золотой песок ложился нам под ноги, мы собирали ракушки, похожие на раскрытые ладони, — там таились мелкие серые жемчужины, — и трепанги, сушили морские звезды и не боялись купаться в шторм. Про Валдиса уже тогда все было понятно. Талант, еще не ясного назначения, бил из него с необыкновенной силой.

Нас отправляли выгуливать младших в лес, где росли маньчжурские орехи и вился терпкий дикий вино-

град. Одной рукой Валдис отодвигал ветки, а другой не переставал размахивать — уже тогда точными и будто рассчитанными движениями. Что-то рассказывал, все время смеялся и раздраженно прикрикивал «Не отвлекайся!», когда я оборачивалась, чтобы посмотреть, где застряли младшие. А Игорек застревал постоянно.

Он садился, чуть сторбившись, у ручья и палочкой слегка шевелил тонкие узкие травинки, разглядывал, как бегут водомерки и цепляются лапками за плывущий лист изумрудные стрекозы с прозрачными крыльями. Про него тоже все было ясно — под кроватью в деревянном ящике у нас жил питон, в ванной плавали головастики из соседнего оврага, а в стеклянной банке на окне ползала гигантская розовая гусеница. Лайма собирала в ладошку малину, и ее жесткие черные кудри мелькали за кустами вверх-вниз, вверх-вниз.

Наши ленинградские бабушки посылали нам книжки из подписных собраний сочинений, цветные леденцы на палочке в виде тюльпанов и вафельные торты с Медным всадником на коробке. Всадник, бабушки и высшее образование ждали нас в Ленинграде.

Как-то случилось так, не помню уже: то ли наши отцы одновременно закончили службу на Тихом океане и вернулись туда, где начинался их служебный путь — в Ленинград, то ли нас массово отправили к бабушкам, на историческую родину, — но мы оказались там все вместе — четверо.

Мы часто ездили в Царское село, Бог весть почему — где сейчас вспомнить. Что тянуло нас, совсем молоденьких студентов, с двумя младшими, которые так и оставались на нашем попечении, в эти таинственные сады, где мраморные ступеньки мостиков спускались в затянутые ряской пруды?

Мы брали лодку на лодочной станции, и Валдис греб, не переставая что-то рассказывать и ухитряясь размахивать руками, не выпуская весел, — мы медленно плыли по царскосельским прудам, огибая островки с беседками, наклоняясь, чтобы не задеть головой ивы, и смотрели, как вырастают нам навстречу гигантские сверкающие дворцы. Потом мы снова бродили по аллеям, заставляя Лайму учить наизусть стихи про девушку с кувшином, а Игорь снова застревал у пруда, выслеживая водяных паучков.

Кто бы нам тогда с Валдисом сказал, что жизнь, так щедро обошедшаяся с нами обоими, ударит именно по нашим младшим, что так немилосердно падет ее тяжелая рука на две эти милые головы, — чернокудрую девичью и светлую мальчишескую?

Как-то мы попали на съемки фильма про декабристов «Звезда пленительного счастья». Перед Екатерининским дворцом гарцевали гусары, дамы с кружевными зонтиками прогуливались вокруг стриженных кустов, и мы с Лаймой разинув рот повисли на ограждении, пытаясь разглядеть знаменитое лицо Косталевского. Где нам было перехватить пылливый и немного настороженный взгляд

моего друга, которым он провожал платформу с камерами?

Учился он тогда в ЛЭТИ. И меня родители пытались засунуть в какой-нибудь технический вуз. «Закон Ома, — говорила моя мама, — он при любом режиме закон Ома, а ты, с твоим характером, в советской журналистике не выживешь». Она ошиблась только в одном — это советская журналистика не выжила. А я-то как раз — пишу.

А с Валдисом родители, сами того не желая, попали в точку: в ЛЭТИ процветал театр. Бог весть почему, но именно там образовался какой-то рассадник чуть ли ни сразу после войны — ставили спектакли, на которые ходил весь город. Я болталась с его компанией — очень быстро это оказались не инженеры, а актеры и режиссеры, они ставили спектакли по Петрушевской, играли в капутниках, что-то уже снимали, пока, наконец, между делом, не поменяли учебное заведение и все вместе не оказались в ЛГИТМиКе. Помню, что на вступительных экзаменах они прятали меня в мужском туалете, и под одобрительными взглядами преподавателей бочком выбиралась из зала и подсовывали мне под дверцу в кабинку экзаменационные темы. Я, присев на корточки у тонкой стенки, быстро писала три сочинения, и потом будущий знаменитый Дима Астрахан выводил меня из туалета, прикрывая широкой спиной...

А Лайма выросла. А Игорь стал взрослым. И они тоже кочевали с нами по питерскому андеграунду, по

квартирным выставкам, — наша смуглая красотка с черными жгучими волосами прибежала ко мне делиться своими романтическими историями, а Валдис читал нам вслух про дону Румату. Игорь приносил записи Галича, и мы слушали их в тесной прокуренной комнате, запивая этот тихий грозный голос дешевым белым вином.

Что такое тогда произошло между нами четверыми — Бог весть. Но мы полюбили друг друга — оказалось, что на всю жизнь. Оказалось — до смерти.

— У вас с Валдисом был роман? — спустя много лет, уже в Черногории, спросит нас Тамара, жена Валдиса. Мы с Валдисом долго смотрим друг другу в глаза. Он молчит, предоставляя ответить мне.

— Интересно, — думаю я, — ведь я и вправду могла провести с ним жизнь. Известный режиссер, московские театры, звон шпаги. Он никогда не дал бы мне стать самой собой.

— Нет, — сказала я Томе, — мы тогда слишком любили театр.

Лайме вредна жара. И поэтому мы едем купаться в шесть утра. Рыбацкое село на берегу маленькой бухты пропахло виноградом. Здесь и так немного народу, а в такую рань только большой старый лабрадор бродит, прихрамывая, по пристани, где еле слышно качаются на волнах катера и лодки. Вода бодрит и смывает последние остатки сна.

— Дорогая, ты выглядишь лучше, чем когда я видела тебя последний раз: и щеки порозовее, а главное — отек с лица спал.

— Да, правда? — она жадно заглядывает мне в глаза, словно впитывая эту драгоценную кроху надежды.

Да и то сказать, последний раз мы виделись в Петербурге, год назад, на похоронах.

Мы теперь встречаемся редко. Жизнь давно раскидала нас по разным городам, теперь и странам. Мы ловим слабые сигналы — вот в сети разместили запись с последнего спектакля Валдиса, вот Лайма прислала фотки со свадьбы дочери, похожей на нее так, что мне хочется взять ее за руку; я посылаю им свои книжки, а последний раз мы встречались на похоронах.

Нет ничего таинственней любви. Она стояла над нами как атмосферный столб, который не обойти. Мы говорили так, словно разговор вели, не прерывая, все эти десятилетия. Маленькая испуганная девочка смотрела на меня глазами немолодой измученной женщины, она цеплялась за меня тонкими пальчиками, словно мы снова пробирались сквозь заросли дикого винограда, вода плескалась вокруг нас, и ее мокрый лоб жался к моему плечу. Поверх этой коротко стриженной головки мы с ее старшим братом смотрели друг другу в глаза. И в этих добрых глазах, которые чуть увеличивали круглые очки без оправы, были смирение и любовь.

Всю эту бессмыслицу повседневной жизни, которая накопилась, как мусор в годах не подметаемой комнате, к последним годам советской власти, можно пересказывать только эпически. Кто теперь сможет представить, какую неимоверную силу захватили вдруг тогда люди, приставленные к дверям. Вахтерши, старушки на входе, билетеры, кондукторы, приемщицы, — сейчас их почти везде заменили пластиковые карточки. А тогда фраза «Вас много, я одна» висела над нами, как «мене, текел, фарес».

Не помню уже с чем Игорек попал в больницу. Скорее всего, это была пневмония. Помню только нас с мамой, как мы стоим у лестницы, ведущей на второй этаж, в палату, где лежал наш больной, испуганный мальчик. Мы пытались хотя бы передать какие-то жалкие свертки: пару книг, домашние котлетки, яблоко. Мама унижалась. Было неловко и стыдно смотреть, как она заискивает перед теткой в белом халате с грязным животом, и, улыбаясь на хамские крики, тщетно пытается получить милостивое разрешение повидать своего сына. Черт знает почему это было запрещено. Толстые обшарпанные стены больницы, крыльцо с низкими ступеньками, окно, в котором между стеклами лежит смятая и засыпанная черными точками вата, — неприступная крепость, где заперт мой младший брат.

Гнев, раздражение на вечное мамино бессилие и мучительная мысль о том, что он лежит там один, испуганный, что он даже не может позвать меня, — и я, выхватив из маминых рук пакет, несусь мимо этих теток, мимо их

искаженных злостью уродливых лиц, вверх по лестнице, перескакивая через две выщербленные ступеньки, врываюсь в палату, кидаю на постель пакет и обхватываю обеими руками эту милую ушастую головку.

— Ах, Лайма, если бы тогда у вас с Игорем что-то сложилось... Вся наша жизнь пошла бы по-другому...

Она отшатнулась вдруг, поскользнулась на мокром камне, и я едва успела схватить ее под локоть.

— Бессмысленно об этом говорить! Что можно было предугадать? Что-то из того, что с нами случилось?

Игорь вернулся из армии растолстевшим и задержанным. Через несколько месяцев объявил, что привезет показать нам женщину, на которой теперь обязан женить из окна. Дверца такси распахнулась, и оттуда появилась фигура будущей матери двух его сыновей, — белесые тонкие волосы до плеч, сжатые губы и узкое напряженное лицо. Я даже помню, что на ней было синее платье с рюшечками. Я схватилась рукой за горло, словно пытаюсь остановить подкатившую горечь, и заплакала.

— Они предложили мне роль Маньяка. Там по ходу этот маньяк поклялся каждый день убивать по вору и отрезать ему руку.

— И что ты?

— Я спросил: отрезание в кадре? Они сказали, нет,

не обязательно, и четыре съемочных дня как моя месячная зарплата в театре.

Разговор доносится до нас с переднего сиденья машины, прерываясь регулярно на руководящие указания навигатора.

— ... И она говорит мне — здесь слишком много слов. Я вам все это сыграю вообще без текста.. А я ему — старик, здесь вообще-то еще есть декорации и действующие лица. Нельзя же их игнорировать?

Лайма растирает между пальцев сухую веточку аниса. Пахнет, как в аптеке.

— А когда над театром пролетал самолет, актер делал вид, что изумляется, но не поднимал головы: просто озирался и пожимал плечами.. А у Сережи роль была еще круче: он разоблачал педофила и убивал его, всадив вилку в горло. Ну да, в кадре. Со спины снимали.. Горького они ставят буквально в мхатовских декорациях, никакого осовременивания. Водрузили на сцену огромный пропеллер.. Нет. Это просто закон: если врать на сцене, то жизнь тебе очень скоро покажет, как оно на самом деле.

— А ты помнишь, как мы с тобой однажды шли по Фонтанке, а нам навстречу — Игорь идет с работы домой. Идет, помахивает клеткой, а там у него белые крысы копошатся..

Своими ловкими, как мы говорили, хирургическими, пальцами, которыми он в детстве разрезал на узорчатые дольки маньчжурские орехи для моего ожерелья,

он оперировал крыс, мыл клетки, что-то проверял на собаках. О чем бы ни заходил разговор, он начинал от комара. Страна распадалась, мы бурно вливались в новое время и меняли водочные карточки на сахар. Было голодно, причем на несколько лет вперед. Появилась даже новая категория граждан — ученые в вязаных шапочках. Вот в эту категорию Игорь и попал.

Вечерами мы собирались в большой комнате, — мы называли это «кружок Умелый хвост» — мама шила игрушки. Мы с моим мужем что-то кроили, раскрашивали китайских болванчиков, я даже шапки из искусственного меха научилась шить. Жизнь медленно, но поворачивалась под ногами. И мы не унывали — наоборот, казалось, что все худшее позади, и, как говорила мама, ради того, чтобы не стало коммунистов, стоило и поголодать. А уж кто-кто, а она знала, что такое — поголодать.

Игорьку бы нашему тогда еще лет пять свободной жизни, — с его комарами, крысами с красными выпученными глазами, нашим вечерним мельканием иголок и беготней по митингам и поэтическим вечерам. Но все это прихлопнула крышкой женщина с напряженным лицом.

Как же она в нас ошиблась — бог ведь почему ей казалось, что она пробивается в богатую семью. А что наши с Игорем родители могли особо поднакопить, всю жизнь проболтавшись по военным гарнизонам? А даже

если бы и накопили — все рухнуло в три дня. Она не простила нам своего разочарования. Считала, что ее обманули и где-то прячут от нее и не показывают спря- танные сокровища. Еще лет пять успел доработать мой брат там, где мечтал с детства, — успел с этими крысиными трахеями создать и выпустить лекарство от астмы, — и пошел зарабатывать деньги для семьи, швыряя в это ненасытное жерло купюры, здоровье, мечты...

От чего в России умирают? — писал Чехов, — от водки и от злой жены. Игорь сделал попытку вырваться — женился второй раз, уже на обычной женщине, радовался третьему сыну. Но было поздно. Наваливались болезни, Катя, новая жена, таскала его по клиникам. Лечили от всего — и бесполезно. Мы с мужем и дочкой уехали на Балканы, — он звонил почти каждый день по скайпу, и я выискивала глазами, не стоят ли около компьютера бутылки.

Когда я была занята, брат обижался — и жаловался на одиночество: «твой голос, может, одно светлое пятно у меня». Завел смешную собачку. Оперировался и плакал уже большими слезами, что никому не нужен. «Мне нужен, — кричала я в трубку, — мне», а жена ловила его в одиноких и отчаянных прогулках по каналам. Сынишка обнимал за шею, но поздно, было уже поздно... На стене в кухне висели огромные засушенные сколопендры в стеклянных корпусах, на книжной полке стояли сочинения Брема, которые я том за томом покупала со

стипендии в букинистических лавках и дарила ему на все праздники, а в стране снова подымал свою драконью спину застой.

Они приехали к нам на лето в Черногорию.

20.

— Иногда мне кажется, что мы все разыгрываем какую-то пьесу, что настоящая жизнь где-то в другом месте, — дружная компания наших мужей, жен и взрослых детей шумно болтала, мешая белое вино с минералкой и трогательно отделяясь от нас своим весельем как завесой.

Валдис откинулся на стуле, и, не улыбаясь, подхватил:

— Иногда я что-то говорю актерам, объясняю, а сам думаю: кто я, что я здесь делаю?

— Может, это потому что прямо у нас под ногами разрушилась страна? Может, наша настоящая жизнь там и осталась, в ленинградских гнилых коммуналках? А все остальное я придумала, и вы просто повторяете мои реплики?

— Я до сих пор не могу произнести слово «Петербург». Особенно — «Санкт-Петербург». Словно фальшивлю, — сказала Лайма и положила голову своему брату на плечо.

— Помнишь, мы-то как раз при коммунистах так и называли наш город, и в этом был элемент противостояния,

игры. Теперь от этого чувства ненатуральности не избавиться.

— Но иногда настоящая реальность вламывается в нашу пьесу, — сказал Валдис, — и показывает свои зубы.

Теплый вечер обволакивал нас, пахло морем, а со стены кафе на нас смотрел Марлон Брандо.

— Лен, а щелкни нас с братиком, — попросила Лайма. Я послушно подняла телефон и навела камеру. Братик.

— Представляешь, Валдис, я уже год без Игоря. Год! **Я до сих вот сюда** эту мысль впустить не могу, — и я стукнула двумя согнутыми пальцами по виску.

21.

Игорь приехал усталым. А все сюда такими приезжают. Вновь прибывших на наши благословенные адриатические берега легко отличить в толпе — у них такой вид, словно их только что разбудили, и они, никак не веря своим глазам, тревожно озираются вокруг, все не решаясь нырнуть в нашу загорелую беззаботную жизнь.

Мы ведь теперь виделись редко, только в мои несчастные возвращения в Петербург. Да и в Петербурге только и хватало, что пройтись вечером по каналам и посидеть в сквере на Покровке, прижимаясь рукав к рукаву.

Теперь мы шли по будванской набережной, и он мне не нравился. Мой младший брат уже давно не выглядел

молодым и бодрым, но по скайпу — слава его создателям — разве можно разглядеть эту новую грузность, красные мешки под глазами и тяжелую шаркающую походку. Мне же всегда немедленно хочется все изменить, поправить, навести порядок:

— Господи, Игорь, как ты выглядишь! Что за ужасная панамка! И эти штаны с шестью карманами, как у Шпунтика!

Он посмеивался, как всегда добродушно и устало, не сопротивляясь моему напору. Мы присели за столик. Площадь, укрытую от потока туристов массивными конструкциями уличного театра, освещало только большое и единственное окно маленькой старинной церкви. У парапета темнела башня, но моря во мраке было не видно, только звездное небо вдруг в каком-то месте обрывалось и проваливалось в темноту.

Из низкой двери высунулся официант.

— Мне эту, как она тут у вас называется, — ракию, — сказал Игорь.

— Если ты возьмешь ракию, то я уйду, — немедленно отозвалась я голосом класной руководительницы.

— Ты когда-нибудь перестанешь меня воспитывать? — он сунул руки в свои безмерные карманы и замер, ссутулившись.

Я привычно положила ему руку на спину.

— Я хочу остаться здесь на полгода, — сказал он.

— Здорово, — также привычно бодро отозвалась я, — поправишь здоровье.

Он промолчал.

Официант вынес и поставил перед нами запотевшую бутылку с минералкой.

Мне надо было уезжать. Дочка плохо переносила жару, и каждый август муж закидывал нас, чемоданы и собаку в машину и увозил в горы.

— Поехали с нами на Жабляк! Ты ведь все равно не плаваешь. А там прохлада, альпийские луга и мы рядом.

— Мне не доехать, — сказал он просто.

— Да что с тобой такое? Это всего четыре часа на машине.

— Спина очень болит, — наконец, словно нехотя, признался он.

— У нас здесь есть отличная массажистка! Я прямо сейчас скину тебе ее телефон. Она и на дом приходит.

Он кивнул.

«Пошлю лучше его жене, Кате, — подумала я, — он никогда ничего для себя сам не сделает».

Мы двинулись дальше. Все эти дни он будто искал праздника. Наши маленькие будванские развлечения типа поедания устриц прямо на берегу, открытые веранды ресторанов и лавчонки со смешными сувенирами, — мы обходили по нескольку раз в день. Он заказывал какой-то пиратский суп в «Тропико», фотографировался с сынишкой под виноградной лозой, купил на площади перед Старым городом какую-то совсем ненужную

картину. На этой картине женщина в красном уходила куда-то под дождем, укрывшись зонтиком. Теперь эта картина висит у меня в спальне.

— Чем-то она напоминает мне мою жену, — сказал Игорь, выкладывая сорок евро. Жена пожалала плечами. Кто из них уходил, вот в чем был вопрос.

Что-то казалось в нем непривычным. Я перестала его теребить: меня вдруг окатило такой жалостью, что я подумала, пусть хоть здесь наконец отдохнет от наших вечных упреков, пусть делает, что хочет. Тем более, что хуже, как видно, некуда. Пусть отдохнет. Мы сейчас все разъедемся: Катя повезет сына в Петербург — готовить к школе, мы — прятать своего ребенка от жары на берегу Черного озера, а он отдохнет. Просто отдохнет.

Прощаясь, он обнял меня: «У тебя такая смешная привычка с детства, — сказал он, — когда тебя обнимаешь, ты складываешь руки, как богомол!»

— Ну у тебя и сравнения, — надулась я, и здесь не найду теплого слова, и пошла собирать вещи.

Уже совсем перед отъездом я послала к нему дочку.

— Он лежал, — доложила, вернувшись, Аня, — пиратский суп я поставила в холодильник.

И мы уехали.

От Будвы до Жабляка на машине и вправду четыре часа. Ну, пять, если с остановками. Дорога идет вдоль каньонов, красота несусветная. Жизнь на ферме, где мы

сняли домик, была идиллической. На завтрак нам приносили молоко, теплый хлеб и каймак. А на обед жарили грибы, которые дочка собирала тут же, чуть ли не у порога. В нашей овчарке проснулись древние инстинкты, и она тут же включилась в сельский круговорот. Заняла пустующую будку и каждый раз, когда хозяин отгонял от фермы коров, забредших со своих альпийских лугов, оживленно присоединялась и лаяла так бодро и так умело, что в конце концов хозяин и вовсе перестал выходить на звон колокольчиков, предоставляя нашей собаке всю работу.

Мы ездили по окрестностям, изучая местные красоты.

Игорь на звонки не отвечал. На третий день я позвонила в Петербург Кате.

— Ты с Игорем разговариваешь? Его даже нет в сети.

— Вчера по моей просьбе к нему заходил хозяин квартиры. Все, говорит, нормально, Игорь сидел на террасе, курил и смотрел на море.

На следующий день мы поехали на каньоны. Никогда больше я не смогу видеть эти водопады, деревянные мостки, узкие тропинки вдоль горной реки. Да и на Жабляк мы с тех пор не ездим.

Мы сидели под деревянным навесом и пили минералку, когда шум водопада вдруг перерезал звонок. Это была Катя.

— Игорь умер.

22.

— Лен, Лен, анализы пришли! Все нормально. У меня нет рака!

— Слава Богу! А что я тебе говорила, Рюлова? Все мои слова подтвердились! Для онкологии ты слишком толстая! Вот теперь будешь мне верить?

— Ты не представляешь, как я боялась. Еле доехала домой сейчас: сердце схватило, руки трясутся так, что набираю буквы еле-еле.

— Все, не трясись уже. Самое страшное тебя миновало. Давай уже отдохни немного и вливайся в творческий поток.

— Мне еще сегодня колонку дописать и пять сцен. А у тебя как?

— Я на двадцать второй главе.

— Какая ты молодец. А у меня сил ни на что нет. Ту малость, что делаю, делаю прямо через не могу.

— Но вот и все, бояться больше нечего. Не удалось тебе увильнуть от работы. Берись уже за дела. Скажи мне быстренько, что он потрясающий, и я пойду за компьютер.

— Он потрясающий, правда. Пошли работать.

23.

Толстые белые стены больницы, широкое крыльцо со ступеньками. Мы сидим на скамейке у входа. Муж

курит в стороне. Около Кати какой-то мятый мешок, там свернута одежда. Я сижу, зажав ладони между колен. Ждем. Сейчас выйдет доктор, и я рванусь навстречу неловким движением, давая в себе вопрос: «Ну как он?»

Никак.

Он лежит где-то здесь, за этой толстой стеной. Один. И меня опять к нему не пускают.

— Вы, конечно, можете зайти, это ваше право. Но знаете ли, август, жара. Я советую вам запомнить его молодым и веселым.

Маленький мальчик стоит, держась за перильца кроватки, а я сижу напротив, на жестком стуле, выданном нам, как и вся мебель, управлением гарнизона, и читаю вслух: «...несет меня лиса за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы, котик — братик, спаси меня...»

Мне надо вскочить, выхватить у Кати этот мятый пакет и нестись вверх по ступенькам, чтобы схватить, обнять эту милую голову...

Муж осторожно протягивает мне пластиковый стаканчик с водой.

Катя молчит.

Расторопный служащий входил и выходил в двери, закрытые для нас. Выносил какую-то жалкую горсть: цепочки, кольцо, часы, какие-то бумаги, которые Катя подписывала, отвернувшись в сторону.

... Несет тебя лиса за темные леса...

Почему ты не позвал меня?

От этого чертова Жабляка до Будвы всего пять часов. А если ехать без остановок, то можно и за четыре. Какие остановки! — мы бы мчались вниз, по серпантину вдоль каньонов, я бы звонила в скорую, я бы искала врачей, соседей. Я бы выскочила из машины на повороте и бежала бы вверх по этой узкой улице, ведущей в гору, к домику с маленькой террасой, на которой ты сидел эти последние несколько дней и слушал, как болит твое сердце. Игорь, почему ты не позвал меня?

Урну нам выдали через месяц. Моя дочка знает правила. Мы надели длинные черные юбки, упаковали платки, и она затянула на моей спине лямки рюкзака с нашим скорбным грузом. Мы стояли в очереди на посадку на самолет Тиват—Петербург. Таможенники быстро и сочувственно оформили наши выездные бумаги. Мы ехали домой, к маме. Мне казалось, что рюкзак еще теплый. Не рюкзак, конечно, а то, что я везла в нем. Беготня с бумагами, ожидание отъезда, ощущение ампутации — словно из меня вырубил часть меня, жестоко вырубил, топором. Я не только брата потеряла, я потеряла себя. Я всегда была старшая сестра, — кто же я теперь? Но все отступало перед одним чувством: что я скажу маме? Она доверила мне младшего брата, а я его не уберегла. Пятьдесят лет назад она принесла нам домой смешного белобрысого мальчишку, он рос и любил меня, а что везу ей я? Котик — братик, прости меня...

24.

— Надеюсь, врач не соврала и не ошиблась.

— Дочка сегодня дойдет до церкви, помолится за тебя. У нее молитвы чистые.

— А я уже к святому Пантелеймону в часовеньку в Тронеше сбегала.

— Все наладится, Таня, ты же прямо за мной все повторяешь.

— Такое ощущение, что я с фронта вернулась. И все посыпалось.

— Это просто возраст, дорогая. Молодость окончательно ушла. Все раскачалось на прощанье. А потом снова сбалансируется. И ты, наконец, станешь взрослая солидная женщина.

— Ох, дожить бы.

— Говорю с тобой словно укачиваю. Мы — выжившие. Мы добежали. Вот брат мой — не добежал.

25.

В центре монастырского дворика, перед входом в большую серокаменную церковь растет пальма. Не прямо из земли, а из небольшой клумбы, огражденной каменным парапетом. Там я и сижу, потому что в сам храм войти уже некуда. На женской половине, строго отделенной от мужской узким проходом, нет ни местечка. Голос священника слышен хорошо и во дворике. Нас,

не поместившихся, здесь много. Сербская служба почти неотличима от нашей. Непонятные слова мгновенно заменяются в сознании знакомыми — и величественные, как парча на одеждах, они сливаются с торжеством этих стен, знойных пальм и высоких монашеских клобуков.

Я плачу. И на меня никто не смотрит. Потому что где еще плакать человеку, как не здесь под этой пальмой в маленьком горном монастыре?

— Думай, что хочешь. Но я чувствую, что брат все время рядом со мной. Я все время слышу, как он говорит со мной. Нет, не слышу, это другое слово. Это словно внутри меня. Он говорит, что умирать совсем не страшно, поверь, говорит, уйти легко. И я бы тоже ушла, но ведь вы без меня не справитесь.

— Не справимся, — твердо говорит муж.

Вот и сейчас. Я пишу эти строчки и вдруг словно теплая волна касается моей склоненной над компьютером головы. Я узнаю эту добрую руку, которая всегда ложилась на плечи, когда меня надо было утешить. Я вижу брата часто, он смотрит на меня, обернувшись, своими ласковыми глазами, улыбается, вынув из угла рта трубку. — А что тут удивительного, — словно говорит он мне со своей обычной присказкой, — мы же единокровные. Я и шуточки его узнаю. Кто бы, кроме него, мог подкинуть мне эту шараду, прощальный подарок?

Игорь, почему ты не позвал меня?

26.

— Ты не видел моих черных очков? Я уже всю машину облазила.

— А в своей пляжной корзинке не смотрела?

— Я с нее начала.

— А может ты их забыла у своего сербского приятеля?

— Ты чего? Я даже не знаю, где он живет!

И сижу, буквально выпучив глаза. Насчет очков не знаю, но этот делано безразличный тон мне знаком давненько: «Ну, и где же ты была?»

27.

Водоем маленький, но глубокий. Из скалы бьют струи, — вода летит вниз, образуя широкую прозрачную завесу. Идти к нему нужно по редким деревянным мосткам вдоль горной речки, которая пробивается по камням через невысокие пороги. Вода ледяная. Спускаться надо по короткой лестнице, аккуратно нашаривая ногой следующую скользкую ступеньку. Спустился — и разом, не задерживаясь ни секунды, ныряй и плыви к скале. А потом обратно — и так несколько раз, чтобы не заледенили ноги, чтобы разогреть движением тело. Потом уже не спеша можно подобраться к скале и стать прямо головой под водопад, чтобы брызги били по лицу, как дождь.

А потом можно так же не спеша развернуться и плыть к берегу.

Всего несколько метров — и я опять у этой скользкой лесенки. По нижним ступенькам поднимаюсь легко, но перил нет, и чтобы вылезти наверх, мне нужна крепкая мужская рука.

Их сразу две — и справа, и слева. Я принимаю обе. Они вытягивают меня на берег, нога скользит, и я падаю на колени, расшибая обе в кровь.

— Да что же это такое! — удивляются оба, — вроде сильно тянули.

Я промолчу. Я не скажу им правду. А правда в том, что каждый из них тянул меня в свою сторону.

28.

День наливался жарой, как спелый плод. Воздух тяжелел, и солнечные лучи теснили всю движущуюся жизнь на тенистую сторону.

— Я шел к тебе, но вдруг мне стало как-то не по себе, и я вернулся домой. Возможно, мне сегодня не надо никуда ехать...

— Что с тобой?

— Не знаю. Не понимаю. Увидим.

Дурные предчувствия — с этим у меня все в порядке. Они набегают мгновенно, стоит только показаться краешку беды. Что с ним? Вчера мы плавали допоздна, что-то пили в кафе за столиком, окруженным кактусами

как вооруженной охраной, переводили афишу к спектаклю, подбирая русские слова к сербским шуткам. Перекупался? Подхватил вирус?

— Мне приехать?

— Да нет. У меня есть антибиотики.

— Да что с тобой?

— Не знаю.

Какие там предчувствия — уже страх подбирался к моим ладоням. У меня напряжение всегда начинается с рук и быстро добегают до висков, — паника. Я начинаю быстро и плохо соображать.

— Как ты?

— Если честно, хуже.

— Я сейчас приеду. Скажи мне свой адрес.

— Улица Паначевска. А номер я не знаю.

— Скорее, — это я уже кричу мужу, — заводи машину!

— Позвони Ясне, — отвечает он на ходу, — узнай, где эта улица.

Ясна — моя подруга и соседка. Она, как и мы, журналистка, и конечно, знает все про наш маленький городок.

Что-что, а панику я сеять умею.

— Ясна! Ясна! — кричу я в трубку, — где эта чертова Паначевска улица?

Ясну сбить с толку не могу даже я. Она откладывает микрофон, куда в этот момент «председник будванской општиньы» рассказывает о положении дел в сфере комму-

нальных услуг, и задает ему следующий вопрос: «А у нас в Будве вообще есть такая улица?»

Надо еще знать это умение черногорцев мгновенно отложить все свои дела и заняться твоими с таким энтузиазмом, будто ты не случайный прохожий, а родной племянник, приехавший с севера. Отставив интервью, председатель општиньы, журналистка и секретарь рожются в телефонах: — «Это вам надо направо от окружного тока, поверните около ресторана «Форсаж», и там не проехать, поставьте машину внизу...» — «Елена, что случилось?» — «Ясна, моя Ясна, он болен! Болен...» — «Похоже на вирус, везите сразу в больницу, это опасно». — «Надо под капельницу», — кричит уже незнакомый мужской голос, это, наверное, он и есть — начальник општиньы.

А машина наша уже давно проехала окружной ток, повернула около рыбного ресторана и остановилась в начале улицы.

— Иди ищи дом. А я подожду в машине. — должен же кто-то оставаться невозмутимым на фоне моей паники.

Я бегу вверх по узкой улице, сжав в руке мятый аптечный пакет, и знойный воздух обжигает мне щеки.

Где, где этот дом? Где это крыльцо с широкими ступенями, по которым я должна нестись вверх, перескакивая через ступеньки, скорее, скорее, чтобы успеть, чтобы прижать к себе эту милую голову.

Слава Богу, хотя бы этот догадался позвать меня.

— Добрый день, как я рад вас видеть, — молодой человек снимает шляпу и раскланивается. Кто это, ах, да, это местный поэт, зачем он здесь, я спешу, все потом, потом, когда я добегу.

— Вернись к машине. Он уже здесь, со мной. Дом был в самом начале улице.

— Господи, как же ты его нашел?

— Он вышел сам.

И вот я уже у машины. Он полулежит на переднем сиденье, без сознания.

В это время в этом городе, где все — в трех минутах езды, машины движутся томной вереницей, застывая каждые пять минут. Я держу руку на его плече, проклинаю всякий автобус, который выворачивает из-за угла, огромный и неповоротливый.

Наконец, мы сворачиваем в переулок, где через пару домов — вход в больницу.

— Мне здесь не припарковаться. Я смогу только помочь тебе вывести его из машины и должен буду сразу отъехать.

Дверь отворяется, и мы заходим в пахнущее лекарствами и тревогой пространство. Я не то что сербский от испуга забыла — русские слова прилипают к языку.

— Нам нужна — хитна помоч, — выдавливаю я из себя, — его нужно срочно уложить.

И вот уже медленно, как в аквариуме, встает из-за стойки медсестра, открывается дверь кабинета, и белые

халаты наполняют пространства моей паники, и уже другие руки подхватывают дорогого мне человека. Я сажусь на крутящийся стулик рядом с больничной койкой, и мир вдруг восстанавливается из разбитых, как стекло, кусков.

— Да мне уже лучше, — тут же заявляет наш герой и пытается подняться и сесть.

— Не оставляйте его, — говорит врач, — сейчас придет специалист.

Надо ли мне об этом говорить специально — не оставляйте его? Ни за что.

Он все время порывался встать, что-то говорил, путая сербские слова с русскими. То крепко сжимал мне руку, то отталкивал ее и снова вставал.

— Ты как ванька-встанька, пожалуйста, ляг спокойно, сейчас придет доктор, — я уговаривала его как маленького, обняв за плечи, пыталась снова и снова уложить на подушку, гладила руки и бормотала обычные детские слова — все будет хорошо, успокойся, мой дорогой.

— Я не могу лежать так беспомощно! — кричал он возмущенно. — Срамота ми е!

— А мне, наоборот, даже нравится, когда ты беспомощный.

— Я знаю! Все так и получилось, потому что ты хотела, чтобы я был, как ребенок!

— Но это только на один день. Завтра все пройдет!

— Правда? — вдруг спросил он доверчиво, откинувшись на подушку и примолк.

Передо мной лежал в той же спокойной раскованной позе этот потрясающий мужчину, которого мы с подружками разглядывали на кадрах из его актерского showreel. Так же была откинута за голову рука и чуть приподнят край рубашки. Я отвела взгляд.

Со стеклянным звоном вкатилась капельница. За ней вошла докторша и, чуть взглянув на меня, села на край кровати. Они тут же заговорили на быстром сербском, создавая то замкнутое, почти интимное, языковое пространство, в котором мне, эмигрантке, не было места. Тихо, чтобы никого не потревожить, я отступила назад, выскользнула в коридор и медленно закрыла за собой дверь.

Часть 3 АРОНИЯ

29.

Действующие лица:

Она

Он

Текст

СИНОПСИС

Она писательница, он актер. Она русская, он серб, она уже в возрасте, он — молод. Они встречаются в Белграде, на съемках. Она уже несколько лет ничего не пишет: махнула рукой, думает — это и есть эмиграция. Они много ездят по стране.

Вдруг в ней что-то щелкает, и медленно, сначала на пустяках, потом все сильнее и объемней — дар возвращается. Они оба понимают, как это случилось: он что-то зацепил в ней. Она начинает писать любовный роман, с ним в главной роли. Все больше и опасней увлекается собственным персонажем. Он относится к этому как к разновидности творческого процесса или как

к экзотической болезни, к которой имеет загадочное отношение. Помогает с готовностью.

— Только скажи, что именно тебя мотивирует, я все сделаю.

— Скорее всего, голос.

Он добросовестно собирает все записи, от спектаклей до озвучки мультфильмов. Мультфильмы не помогают. Ей надо уезжать в Черногорию.

— Не беспокойся, я сделаю студийную запись. Что ты хочешь именно, чтобы я спел?

— Обещай мне...

— Обещаю.

— Знаешь, я подумала, я решила...

Он хохочет.

— У женщин не бывает зазора между подумала и решила.

— Пожалуйста, послушай.

— Да.

— Я дам тебе прочесть этот роман, только когда его переведут на сербский. Понимаешь, у меня сложный язык, там много пластов и ассоциаций, я хочу, чтобы ты все понял.

— Хорошо, я подожду, пока переведут, как ты скажешь. А хочешь, я вообще не буду читать?

— Ты хотел, чтобы я смотрела твои спектакли? Ты хотел, чтобы я знала, какой ты актер?

— Я понял.

— Я хочу, чтобы ты читал эту книгу при мне.

— Ты мне не веришь.

— Нет, не то, я просто вижу это, как сцену. Мы сидим на берегу, пусть это будет Дунай. Ты читаешь, свет от свечи на столе, я что-то пью и смотрю на твое лицо.

— Ты ничего не увидишь. Я же никогда не показываю реакцию.

— А как тогда я узнаю, что тебе со мной стало скучно?

— Это очень просто. Я уйду.

Конечно, тут смешалось все. И это небывалое лето, когда, казалось, все счастье, которое последние годы старательно обходило ее стороной, где-то копилось и теперь обрушилось на нее как водопад. И этот дивный край, по которому он вез ее все лето: золотая Тара, прекрасный голубой Дунай и долгие зеленые равнины, — который захватывал ее воображение и сам становился действующим лицом ее жизни. Ее спутник заполнял ее новый мир: он смеялся, рассказывал истории про каждый встречный каменный форпост, пугался, когда она входила в быстрое течение Дрины, мешал сербскую и русскую речь, и, Боже, как же он был непростительно молод!

И да, голос. Она давно это за собой знала. Много лет назад, когда она еще была студенткой, брат принес и подарил ей пластинку с записями Элвиса Пресли. На черном рынке она стоила бешеных денег — тридцать рублей, почти как вся ее стипендия. Она впервые тогда услышала то, что называлось «западной музыкой». Она

помнила почти наизусть каждую песню и сам конверт, с пожелтевшими, чуть потрепанными краями. И король, конечно, покорила ее слабое девичье сердце. Малейший намек на сходство: черные пряди, падающие на смуглый лоб, поворот головы и даже округлость широких плеч — с той поры действовал на нее беспроигрышно.

А тут — голос. Что-то в его низком балканском голосе то ли тембром, то ли этой нежной королевской сладостью напоминало, отзывалось, — и невозможно было слушать — аж в висках ломило.

— В крайнем случае, я буду петь тебе просто по телефону.

— Если этот текст получится, то тогда все, что со мной было, обретет смысл.

— Ты здесь, и в этом — уже смысл.

А сцену эту я хорошо себе представила. Дунайская набережная, столик у воды, — впрочем, нет, лучше они сядут на скамейке и пусть будет запах полыни, как тогда в Смедерево, когда она впервые поняла отчетливо, что именно с ней происходит, тогда, когда он сказал ей: «Я слышу счастье в твоём голосе».

Он будет читать, низко наклонив голову — свет от фонаря выхватывает только желтые страницы и темный рисунок глаз.

Уже к последней странице, дочитывая, он собрался и понял, как ему следует себя вести. Он же профессио-

нальный актер. Ему нужно еще только пару мгновений, и он войдет в роль. Он должен будет показать, что ему все равно. Если ему не все равно, что тогда им делать?

30.

Так я и думала. Нервное напряжение последнего месяца сменилось упадком. Проснулась с мыслью, что все кончено. Этого чуда — воодушевления, которое длилось так долго, больше не вернуть. Книгу не дописать. Все снова станет, как и было. Пелена спадет, и вокруг окажутся обычные люди. Новое платье выглядит глупо. И все, все выглядит глупо.

Спустилась к завтраку. Все столики заняты румынской группой. Или какой-то испаноязычной. Яркие, громкие, тучные. Натыкаешься на взгляд — и лицо теряет всякое выражение. Губы сомкнуты, как ряды перед вражеским станом.

— Добар дан! Како сте вы? — оборачиваюсь на широкую улыбку знакомого официанта: я в этом отеле частый гость — да, да — это та самая «Прага», которая была последним оазисом на моем крестном пути на работу. Улыбаюсь в ответ, жмем друг другу руки, он идет по своим делам, а я сажусь за столик, окруженная глухими румынскими лицами. Нет, думаю, все наоборот! Эта сербская доброжелательность, бесконечные улыбки и похлопывания по плечу — это броня похлеще крепостной стены. Они загораживаются ею, ты никогда не

узнаешь, что они чувствуют на самом деле, есть ли им вообще до тебя дело, это ритуал, это такой способ сказать «мне все равно»!

Пусть лучше румыны, которые смотрят мимо тебя, разговаривают поверх твоей головы, словно ты стул, зато честно. Не надо мне улыбаться, не надо на меня смотреть.

Слышишь, не смотри на меня!

31.

— Что за пораженческие настроения? Вы во сколько приедете, чтобы мне день спланировать?

— Рюлова, вообще-то я плачу. Не мешай.

— Хочешь, я тебя наберу? Или ты еще поплачешь, а я тебя попозже отвлеку?

— Не, звонить лучше не надо. А писать — пиши. Я же настроение фиксирую.

— Такое тоже должно быть. Ты же не можешь все время быть в одном состоянии. Иначе не будет повода для текста. Тебе сейчас надо немного побыть на дне и окулиться.

— Может и так. А упадок реально сильный. А повод нащупать не могу. Кстати, ты рецензию на первую часть прочитала?

— Был очень сильный подъем, он и определил глубину упадка. Может, что-то подсознательно хотелось, а не получилось. Вот душа и грустит, а голова

не понимает, в чем дело. Нет, не читала. Сейчас прочту.

— Осталось определить, чего же мне хотелось.

— А надо? Шикарная рецензия, кстати.

— Сама удивлена. Завтра дам и тебе прочесть текст.

— А упадок и грусть надо просто прожить. Дать себе это право.

— Мне плохо, а он неизвестно где!

— Вот! И тогда ты все эти чувства сможешь описать.

— Я, как вампир, питаюсь чувствами.

— Не, вампир вызывает в людях страх, стыд, гнев, вину, а потом эти эмоции пожирает. А ты проживаешь собственные чувства и преобразовываешь их в слова. Заодно и наши перерабатываешь. Так что не вампир, а донор.

— Мы хотели выехать сегодня до жары. У него сегодня выходной. Сейчас он приедет, а я в упадке. Он такой меня еще не видел.

— Ну, ему придется потерпеть.

— Я еще и поссорюсь с ним. У меня это запросто. Где ты был, когда мне было плохо?

— Вот, кстати, да.

— Но я не знаю, как ссорятся сербы.

— Новый опыт. Можно с ним поссориться по дороге на Дрину.

— Интересная идея.

— Что-то мне подсказывает, что у тебя складывается сюжетная линия второй части.

— Тогда встанет вопрос, а как сербы мирятся.

— Ну, погоди. У тебя сейчас подсознание работает отдельно от головы. Это называется «событие в развитии».

— Умная ты, Рюлова. Получается, что я себя уже за человека не держу. Какой-то инструмент по переработке чувств.

— Ты себя держишь за творческого человека.

— Ладно. Диалог уже хороший. Все, иди, не мешай. Я запишу.

— А я пойду выпью вторую чашку кофе. Обнимаю.

— А я, кстати, плакать не перестала.

— Плачь и записывай.

32.

Погода меняется прямо на глазах. Откуда-то с дальних холмов пришел ветер, и мягкими, ненавязчивыми движениями он словно выметал из сада тепло. Вдали светлело небо, четче становились облака и едва различимые силуэты деревьев. В деревне за косогром прокричал петух, потом еще раз. Где-то в траве, где фонарики выхватывали скудные островки света, пели сверчки. Ночь еще медлила, и только высокие заросли нескошенной травы на газоне слегка шевелились под ветром. Я накинула на плечи легкую куртку и села на веранде, добавив в общую картину запах кофе.

На столе со вчерашнего вечера было не убрано. Пустые бокалы, провода, банка с Рюловскими грушевыми цукатами, которые оставляют на пальцах и вокруг рта белую пудру, как пыльцу. Мы засиделись вчера допоздна, вся наша компания, мы пили: кофе, вино, минералку, ели какие-то русские конфеты, рассказывали анекдоты про босняков в Канаде и читали первую верстку нашей общей книжки о путешествии по Сербии. Это вообще-то приятное занятие — наша работа уже сдана, мы полны новых планов, а между тем, как в моральную поддержку — «ребята, у вас все получится» — приходят красивые стильные листы с уже удавшейся книгой.

Рюлова готовила фотоаппарат — завтра она у нас будет за фотографа, а мы рассчитывали время — утром нас всех что-то ожидало: пресс-конференция, выход в утренний эфир, пост-релизы.

Поддерживать мой упадок он не стал. Ну, буквально несколько минут, чтобы прояснить, что не случилось чего-то серьезного. Я добросовестно пыталась устроить сцену. Русский бы завелся после первого провокационного вопроса, но тут все мои привычные клише, типа все ко мне равнодушны, разбивались о его буквальное непонимание. А между тем мы уже выехали из Белграда и двигались по Воеводине. Я пропустила всего несколько недель сербского лета и теперь с изумлением смотрела, как пожелтели за это время кукурузные поля, как

отяжелели круглые головы подсолнухов, как развернулись широкие листья табака. Сербия наливалась осенней зрелостью.

Чего я добиваюсь сейчас от него? Какого сочувствия? Он отдает мне все, что у него есть: самого себя — начиная с утреннего письма, которое вспыхивает у меня на телефоне «я разбудился. когда за тобой приехать?» — и кончая страной, которую он преподносит мне как подарок, как горсть спелых ягод на теплой ладони.

— Расскажи мне, — спросила, — как сербы ссорятся?

— Со мной тебе этого не удастся.

Мой грустный пост в фейсбуке собирал сочувственную поддержку. Друзья давали советы отдохнуть, а Ася строго велела продолжать работу. Если бы я могла включаться как компьютер, нажатием клавиши... Или так — скомандовать, а идеи выбегают на палубу как матросы и выстраиваются в предложения, абзацы, главы.

Прохладная Дрина журчала у наших ног: «А скажи, у вас в Петербурге есть, где купаться?»

— Конечно, сразу за городом начинается побережье Финского залива. Там песчаные дюны и корабельные сосны с красными стволами. Между Комарово и Сестрорецком, там, где бывшие финские территории, тянутся длинные пляжи, глубина начинается не скоро — минут десять надо брести, и все тебе будет по колено. На такой мелкоте море прогревается быстро и можно купаться. Правда, продолжается это от силы месяц, конец июля, начало августа. После двадцатого августа уже наступает

осень. Можно собирать грибы и чернику, но уже в резиновых сапогах и куртках. В сентябре, бывает, выпадают золотые денечки, и можно поехать за город, посидеть на берегу залива, а в выходные заскочить к друзьям на шашлыки. Уже краснеет рябина, начинаются дожди. А в октябре — время срывать черноплодку, засыпать ее сахаром и ставить на окно, что выходит в сад, и ждать Нового года, чтобы разлить темный рубиновый ликер под елкой, которая растет в саду прямо из сугроба...

— Черноплодка? Как это по-сербски?

— У вас в Сербии нет черноплодки. Это рябина, только с черными ягодами. Они не очень сладкие, немного терпкие — их не особенно едят, только на домашнее вино.

— Дай я посмотрю на гугле.

Он покрутил что-то в телефоне и протянул мне экран.

— Смотри, я так и думал. Это арония. Вот читай, тут тебе и по-русски, и по-английски. Черноплодная рябина — это арония!

Он говорил с таким победительным видом, будто доказал мне, что земля круглая, особенно в районе Сербии.

— И она здесь растет просто повсюду. Из нее у нас делают, что хочешь — и варенье, и сок, и вино. Мама каждый год делает из аронии ликер.

— Наливку, — автоматически поправила я, пораженная прежде всего его напором: в его постоянном

сербском энтузиазме сквозило на этот раз что-то совсем другое, и оно напрочь перечеркивало все мое выступление насчет того, что меня никто не понимает.

— Я соберу осенью аронию и сделаю тебе наливку, как делала дома.

... и мокрый сад, и скользкие плащи, с которых капает вода, черные от сока пальцы, банки, полные крупными терпкими ягодам, трехлитровые банки, засыпанные сверху слоем розовеющего сахара, искрится новогодний снег, из дачного окна падает желтый четырехугольник света и крохотные стаканчики с рубиново-черной густой жидкостью светятся, как драгоценные камни...

— Пошли обедать, — сказал он, — я сегодня за ягнетину. А ты?

— А я на диете! Ты забыл, как ты заставлял меня обедать по три раза в день?

Он смотрел на меня смеющимися глазами и — не найдешь более скользкой темы, чем эта, — объяснял, что вообще не понимает, в чем проблема, почему я одержима идеей худеть, он лично ничего лишнего не видит, и давно хотел сказать мне как друг, что я напрасно пью на ночь вино без еды.

Уже в кафане, вдыхая запахи изученной за лето сербской кухни, мы с ловкостью фокусников расчистили стол, выставили в центр посудину с ягнатиной и фоткались на ее фоне, хохоча над въевшейся (во всех смыслах) привычкой: фиксировать на фотоаппарат все, что нам приходилось есть.

— Здорово вышло, — веселилась я, — сейчас я размещу все это в фэйсбуке!

— Конечно, размещай! Прямо после своего поста о полном упадке.

У меня застыл в воздухе палец. Сейчас я посмотрю, что там делается!

Я быстро пробежала глазами по ленте.

— Ну как? — спросил он.

— Сочувствуют, — сдержанно отозвалась я.

— Пожалей людей. Размести эти фотки завтра.

— Завтра у нас уже будет «конференция за штампу».

— Вот, это и будет естественный переход: упадок — работа — ягнетина.

— Нам надо доехать до Рыбаковой, пока не похолодало, — сказал он, поднимаясь из-за стола. — И знаешь, наверное это у тебя еще и от твоих утренних разговоров с москвичами.

Мне нравится, как он старательно выговаривает слово «наверное»: слог за слогом, букву за буквой.

Я ужасно люблю это чувство: когда все сложилось и идет само по себе. Подъезжают машины, какие-то незнакомые люди расставляют столы, камеры, свет; вот группа сочувствующих друзей — они приехали раньше и теперь пьют кофе, вот собрались и коллеги — историк Мирослав, с которым мы будем оповещать

общественность о наших открытиях, вот прибывают начальственные тети, — такие же, как и наши, исполкомовского типа, если кто еще не забыл, как они выглядели — с важностью во взоре и бетонным бюстом.

Рюлова крутится с фотоаппаратом, а я ищу взглядом логотип самого популярного в Сербии канала...

Всегда наслаждаюсь этим моментом. Когда все, что ты придумал буквально на пустом месте, вдруг обретает свою собственную жизнь.

— Тань, мы это сделали.

Я давно уже знаю, что книга — дело очень долгоиграющее. Поначалу, когда я еще не остыла от журналистских тем, которые смывает наутро волной свежих новостей, мне казалось странным, что для человека, который открыл твою книгу, она всегда новая. И что она почти сразу, еще теплая, начинает жить совсем независимой от тебя жизнью. Ты спустил ее как корабль со стапелей, и он движется неторопливо, тяжело оседая на ходу, — испанский галеон, чей трюм полон кованых сундуков с золотыми дублонами, китайскими шелками и отборным жемчугом. Его ведут таинственные подводные течения, его дно обрастает ракушками, пираты точат сабли, но никому не удастся взять твои строчки на бордаж. Так и плывет куда-то вдаль, а ты стой на берегу и маши платочком. Он не вернется.

Наше большое путешествие, которое мы с Рыбаковой затеяли весной, всего лишь имея в виду написать

вторую часть вдруг ставшей знаменитой книги о Сербии, обросло событиями, людьми и предчувствиями.

Мирослав начал, как и все сербы, когда говорят с русскими, с признания в любви к России. Почти все они не отделяли царскую Россию от современной, отторгая даже малый намек на то, что той России, которую принесли им на крыльях белые офицеры, уже давно нет. Могучее государство, которое в какой-то таинственный момент должно прийти на помощь, белый царь, предсказанный в туманных пророчествах, — и ничто не связывает этот великий миф с реальной страной, которую они никогда не видели.

— Мой дедушка, — рассказывал Мирослав, волнуясь, — очень любил Россию. И он был просто потрясен, когда смотрел по телевизору всю эту страшную историю с подводной лодкой «Курск». Он очень переживал. А потом сказал: «Ничего. Надо ждать. Россия еще поднимется!»

Эх, дедушкины бы слова да Богу в уши. Тем более, что он сейчас там, где-то поблизости...

Под светлые камеры мы с Рыбаковой, одетой в свой лучший костюм, рассказываем на своем выученном сербском про наше путешествие, про книжки, которые мы будем писать, про вкус бычьего мяса, прожаренного над огнем на высоком холме в тихую, безветренную погоду...

34.

— Таня, это уже похоже на шизофрению. Вот он тут, рядом со мной: разговаривает, плавает, что-то смотрит в ноутбуке, можно протянуть руку и постучать пальчиками по запыстью, мешая набирать буквы... И ровно в то же самое время у меня в голове ровно тот же человек живет совершенно другой жизнью, — полупридуманной, полупохожей. Вот сейчас, например, он сидит на скамейке около Дуная, положив подбородок на сжатые ладони и размышляет — что ему делать дальше.

35.

— Смотри, чем занимается наша Рюлова! — сказала Таня и махнула рукой в сторону детской площадки. Там, откинувшись назад, чтобы ее только вчера завитые волосы развевались в воздухе, романтически, как в старых советских фильмах, качалась на качелях наша подруга.

— Рюлова! — закричала я строгим голосом, — а кто работать будет?

Она быстро соскочила с качелей и подбежала ко мне.

— Слушай, а кто вот тот симпатичный парень, он сейчас как раз под камеру говорит?

— А это и есть Мирослав, тот самый историк, с которым мы это дело-то и ведем.

— Ой, как он мне понравился, — интригующе протянула Рюлова.

114

— Серьезно? — удивилась я, — совсем не в моем стиле.

— То, что сегодня в твоем стиле, я уже пережила много лет назад, — ядовито сказала Рюлова и получила легкий удар ногой по туфельке: это тебе за «сегодня».

— А ты хочешь сказать, что у тебя это всерьез и надолго.

— Рюлова, не привязывайся, — сказала я. — Если хочешь, я тебя сейчас познакомлю с Мирославом.

— Хочу, — сказала Рюлова.

Я окликнула своего нового приятеля. Мирослав с готовностью появился рядом со мной и предоставил себя в наше распоряжение. Я без малейшего намека на улыбку распорядилась Рюловой доставить фотографии в музей, где работает наш историк, по возможности организовать выставку и доложить мне об исполнении.

— Познакомьтесь, кстати. Мирослав, это моя подруга, она живет здесь, около Лозницы. Она журналистка, но у нее есть очень интересное увлечение — она занимается керамикой.

— А вы знаете, — оживился Мирослав, — у нас здесь летом открывается школа керамики, а еще есть мастерские, они и вовсе круглый год работают. Может, вас это заинтересует?

Рюлова сияла и кивала головой без остановки.

— Конечно, заинтересует, — быстро вставила я, видя, что наша красавица не в силах выдать два слова из улыбающегося рта, — еще как!

115

Есть в нашей истории несколько уже мифических эпизодов. Один из них называется: «Как Рыбакова отнимала у серба бутылку». Любому из нас достаточно только намекнуть на него, и все начинают хохотать как сумасшедшие. А дело было так.

Мы наконец доехали до Таниного дома. Вечером собрались гости, слово за слово — все, как обычно, болтовня, смех, — и кто-то вдруг кричит: «Есть в этом доме ручка?» — и на каких-то клочках бумаги, как лунные письма под горячим утюгом, проявляются строчки, наброски, закорючки, которые потом замучаешься расшифровывать. Татьяна поставила на стол миску с черным виноградом.

— А ведь мы привезли какое-то интересное мо-настырское вино! — вспомнила я. Татьяна пошла на кухню, вернулась с бутылкой и штопором и вручила все это моему спутнику.

Он принял у нее бутылку и начал неторопливо снимать бумажную крышку.

— Ты все не так делаешь! — завопила вдруг Рыбакова, которая ни минуты не может посидеть, чтобы не командовать окружающими. — Дай я все сама сделаю!

Она соскочила со стула, кинулась к нему и вцепилась руками в бутылку.

— Таня, остановись! — сдавленным голосом сказала Рюлова с расширенными от ужаса глазами.

Я-то что, мне любое лыко в строку, и я с удовольствием наблюдала, как наша супернезависимая Рыбакова учит сербского мужчину правильно открывать вино.

Я впервые увидела, как у него каменеет лицо.

Он сделал левой рукой отстраняющий жест, другой вставил в пробку штопор и, не поворачивая головы, сказал:

— Татьяна! На Балканах такая женщина, как ты, должна немного прижать уши.

Хорошо, что я пишу рано по утрам: никто не видит, как это выглядит. Я смеюсь, плачу, хожу с чашкой остывшего кофе по веранде: туда-сюда — как маньяк, иногда спускаюсь к саду, чтобы получить дозу розовых ароматов, грызу цукаты, кутаюсь в плед и слушаю птиц. Вчера надо было вогнать себя в грустное настроение. В моем состоянии перманентного счастья это непросто. На удачу, в мою чашку с кофе попала ночная бабочка: я выходила из дверей на веранду и, держа чашку в руке, отодвинула легкие шторы, где она, видимо, и прилепилась. Она лежала на черном кофейном фоне, раскинув желтые крылья, и выглядела достаточно грустно. Я вернулась в дом, встала в угол, прислонившись к стенке, и начала думать.

О том, как печален этот полузаброшенный сад, который сажали не для нас, о том, как запах этих деревянных стен напоминает мне дом, оставленный в зимнем

сосновом лесу, о том, что я иду вдоль стеклянной стены и только вижу ладонь, которая скользит с той стороны ровно против моей, — заплакала и быстро побежала на веранду за компьютер.

38.

Мы тогда приехали на Тару. Только кончились весенние дожди, и лес, и дол были полны свежести, ручьи и водопады — водой, такой чистой, что было видно, как движутся на дне мелкие рыбешки и разная насекомая мелочь. Все казалось только что умытым: и золотистая кора сосен, и цветы на обочине, и сама дорога, которая становилась все круче и уже. Он вез меня в гости к своим друзьям, которые жили где-то на самом верху горы, на ферме, держали коз и огород с лекарственными травами. Накануне мы заночевали в маленьком городке со старомодными улицами, невысокими особняками с лепниной и раскидистыми цветущими каштанами. Обаяние этих тихих улиц опустилось на меня как крыло.

— Как ты мог уехать отсюда? — я допытывалась от него риторически, вкладывая в вопрос лишь желание передать ему, как понятна мне прелесть места, — можно ли всерьез интересоваться у успешного белградского актера, что вынесло его из этой очаровательной провинции в столицу.

— Возможно для того, — взгляд его темных глаз сошел круг: высокие кроны каштанов, улица, люди за

столиками, — и остановился на мне, — чтобы когда-то вернуться.

Маленькая бревенчатая ферма стояла на высоком косогоре. Эти косогоры, которые мягко перекатываются по сербскому пейзажу, играя десятком оттенков зеленого, щедро подставляли свои спины белым домикам с терракотовыми крышами, стадам, которые издали казались игрушечными, неровным квадратам деревьев, полянам и бесконечным травам.

Вот и здесь нас встретил тот же набор: домик, козы, цветы. Я очень люблю длинные клумбы с лекарственными травами, они напоминают мне средневековые сады, которые я видела на картинах старых мастеров. Я и до дома-то не дошла, застряла среди всей этой неброской пестроты. Вместе с хозяйкой фермы, Миленой, мы бродили между грядок, наклоняясь, разминая в руках и пробуя на язык сиреневые фиалки, белые цветы чеснока, молодые побеги манжетки. В средние века Милена бы стала травницей. В России таких, как она, звали знахарками, в Англии — «мудрыми женщинами», а интересно, как в Сербии? Много лет назад они с мужем эмигрировали в Германию и преуспели там — муж в бизнесе, а Милена в своей профессии, она — повар.. И в какой-то момент вдруг поняли, что эта размеренная обеспеченная жизнь: работай — ешь — спи — снова работай, — отнимает у них самое главное — самих себя. Они бросили все и вернулись к себе — на Тару.

Милена учит меня сложным словам: чўваркуча, я повторяю несколько раз, а затем и съедаю кислотоватую

фиолетовую шишечку. Вкус и мягкость стеблей успокаивают меня, словно все они не для сложных болезней, про которые рассказывает Милена, а для того, чтобы окунуть меня в аромат воспоминаний. Алоэ — эти тугие, налитые соком колючие листья росли в каждом доме — на подоконниках в горшочках. Мама нарезала их, смешивала мелкие кусочки с медом и кормила меня этой гадостью при малейшем намеке на простуду. Бóковница — да это же подорожник, приложенный к разбитой детской коленке, а из фиалки варят варенье, ну совсем просто, как варят из лепестков роз.

— Ты помнишь, вот тогда это все и случилось...

— Да, я держала в руках желтые цветы, и тревожно и даже болезненно у меня где-то внутри зашевелилось знакомое, но давно забытое ощущение: набухание сюжета, бег ускользающих слов и что-то еще, — и оно нарастало вместе с вернувшимся даром, ошеломляло и наполняло счастьем...

— Я помню, я хорошо помню этот момент — ты несла в руках калопёры и сказала, что слышала об этих цветах в одной песне...

— Да, это были маленькие желтые хризантемы, и они пахли мятой и лимоном...

— И ты сказала, что там герой пел о доме, в который ему не вернуться, и о запахе...

— Да, да, он пел — «... и мýрис, мýрис калопёра»...

— И я тогда вспомнил эту песню и напел тебе — «... тамо, тамо да пýтуем, тамо, тамо, да тóтуем»...

— Я тогда первый раз услышала, как ты поешь...

Желтые цветы забрала Милена, а я просунула руку ему под локоть, и мы пошли к дому, где нас ждали друзья — с разговорами, вином и ужином, — медленно, словно еще не веря, еще только прислушиваясь к тому, что должно было изменить мою жизнь.

39.

— Остаток дня, — сказала Татьяна. Мы ехали по Лознице, огибая повороты, останавливаясь у магазинов. — А что там нам нужно? Только вино и арбуз! — **И постоянно прерывали** наш непрерывный диалог.

— Что ты мучаешься? Глупо, не глупо... Мы можем себе позволить все, что захотим. У нас нет ни перед кем ответственности.

— Семья, — я вякнула слабо — все равно Татьяну не перекричишь, если она завелась.

— Они все взрослые самостоятельные люди. Или, по крайней мере, должны быть такими. А ты подумай, кто знает, сколько нам вообще осталось? Вот завтра у кого-нибудь из нас что-то обнаружат, что совершенно не исключено, и вообще все тогда полетит к чертям на лекарства и очереди по клиникам.

Остаток дня. Мне и без болезней нечего особенно долго ждать, как бесславно закончится моя борьба

с весом, плавание в холодном утреннем море и короткие юбки на загорелых ногах.

Перед заходом солнца. Почему переживания мужчин с благородной сединой выглядят так импозантно, а женщина униженно перебирает крема на полочке в ванной? Раньше, когда только начали хмуриться и расширять предложения косметологи в дорогих московских салонах, мне казалось, что с возрастом начнет угасать и острота желаний. Что теперь могу сказать? Конечно, меня меньше тянет, например, путешествовать. Ну так, во-первых, я уже объездила полмира, когда только что вырвалась — сначала из-за железного занавеса, а потом из безденежья, — а во-вторых, что такое путешествие? — это тяга к освоению чужого. А у меня чужого теперь кругом — только знай осваивай, от языка и названий улиц до значения каждого жеста. Меня не гонит по чужим столицам ненасытная жажда красивой одежды — все, что хотела, я уже перемерила, надевая на работу каждый день новый наряд, и попробуй не сделать того — пришла я как-то в студию в кроссовках, так пришлось идти в примерную и искать туфли подходящего размера и высоты каблука.

Всем была полна моя жизнь, и многое, как и косметика, которую день наносила я, а день — гримеры, потеряло смысл под солнцем Адриатики. Я заслужила покой в провинции у моря, — вот как я накручиваю банальные ассоциации, прежде чем подойти к страшному: и почему же теперь у меня замирает дыхание, ко-

гда на мне останавливается этот медленный балканский взгляд?

Много лет назад, еще в Петербурге, еще когда я только-только вышла замуж, мы с мужем зашли к Валдису Балодису в театр. Даже помню, мы заносили ему потрепанные листы самиздатовского издания Венечки Ерофеева, которые брали у него на ночь почитать. Валдис репетировал какую-то сцену с приятелем-актером. Почему-то тот был одет в плащ и шляпу с широкими полями. Валдис нас представил, и этот его приятель, не выходя из образа, снял шляпу, картинно отвел ее далеко в сторону и, чуть выставив вперед ногу, отдал мне широкий поклон. Затем взял мою руку и поднес к губам. Я легко коснулась пальцами другой руки его склоненной головы. Темный плащ доставал почти до пола. Все молчали, и он продолжал прижимать губы к моей ладони дольше, чем этого требует простое приличие. Да, да, мы в Петербурге, господа.

И я прекрасно помню, как вдруг сжалось мое сердце. «Что мне этот мальчишка? Но ведь теперь никогда ничего не может между нами случиться — я ведь замужем, и это насовсем. Насовсем».

Эта мысль поразила меня, и я обернулась на мужа, молодого, элегантного даже в нищенской одежде того времени, который смотрел на меня с некоторым недоумением своими ясными и добрыми глазами: «Что с тобой происходит?»

Ничего. Вот тогда как раз ничего и не происходило. Все началось значительно позже.

Остаток дня. Мне ли жаловаться, особенно теперь, когда вернулся этот вечно ускользающий дар, когда я чувствую в каждом своем слове нарастающую достоверность, когда у меня из-под пальцев на клавиши бежит искусство — сладкий леденец, который может скрасить эти вечерние часы и силой, и славой! Но почему, почему я не могу, как Джулия Ламберт, которая разжала руку и бросила ключ, почему я не могу остановить головокружение, когда на экране телефона вспыхивают слова: «Лаку ноч!»

40.

— Мама, а мы купили учебный дрон!

— Что же это вы за моей спиной?

— А ты же уехала...

— А позвонить?

Дочка примирительно вздыхает.

— Хочешь, я покажу тебе, как он летает по комнате?

— Конечно, хочу.

На экране видна сначала сама Аня с какой-то коробочкой в руках, затем светлые солнечные квадраты на полу, спящий пес, открытая на террасу дверь и голубая лента Адриатики. В Будве еще жарит солнце, а здесь, в Сербии, уже накрапывает дождь.

124

— Я спросила у папы, когда мама вернется, а он говорит: пусть она немного отдохнет от нас...

41.

Никита вылез из машины, держа в руках кипу бумаг. Изящный столик на Таниной веранде сразу стал похож на редакционный.

— Ты знаешь, — сказал он, — я вчера вечером сел сразу с карандашом, чтобы делать правки, а на третьем абзаце понял, что хочу просто читать. Расслабиться и получать удовольствие.

Я скромно промолчала, тем более, что краем глаза уже видела, как пестрят его пометками листы с моими текстами.

Следующие полчаса получала удовольствие уже я. Ну, во-первых, сто лет не работала с режиссером — не сто, не сто, а все то же безмолвное пятилетие. Во-вторых, лестно же, конечно, лестно, когда этот столичный режиссер, не выпадавший, в отличие от меня, ни на день из московского коловорота, так бережно и с таким восторгом прочитывал и превращал на моих глазах в спектакль каждое мое слово. А было и еще кое-что.

— Я выбрал для начала десятков отрывков. Там, где у тебя в главных героях этот актер. Впрочем, у тебя вся книга о нем.

Я опять скромно промолчала.

125

— Это понятно, — тут же вставила лояльная Рыбакова, — он же телезвезда, вокруг него все и вертится, читатели такое любят.

Никита пожал плечами и взял в руки карандаш.

— Давай все-таки вместе немного подсократим. Что хорошо смотрится в книге, не обязательно нужно говорить со сцены. Облегчим твоему приятелю работу.

Я с легкой душой соглашалась на все. Мы убирали сложносочиненные предложения, географию и излишние красоты.

— Давай в тех местах, где о нем говорится в третьем лице, везде заменим на первое. Пусть говорит от себя. А ему я сразу скажу: мои указания не догма, пусть сам смотрит, как ему удобно. Я знаю, он сделает, как я скажу, но если ему самому это не пойдет, то просто хуже получится.

Он достал сигарету, откинулся на стуле, чтобы дым шел в сторону сада — все знают, что у меня на никотин аллергия, — и сказал задумчиво:

— Я вообще не представляю, как я поставлю перед актером задачу — играть самого себя, которого ты придумала.

— Никита, а как я сама с этим живу?

— Давай посмотрим этот диалог про маленькую желтую хризантему. Во-первых, его надо сильно отбить паузой от предыдущего текста. Во-вторых, смотри: там, где он вспоминает песню, ее, конечно, нужно пропеть.

— Всю, что ли?

— Ты что, тогда сразу потеряется темп и вся эта булгаковщина.

— А как ты думаешь, все это хорошо просматривается: ...«она несла в руках отвратительные желтые цветы»... Все прочтут?

— Ну знаешь, те, кто не знают булгаковские цитаты, тебя просто не читают. Это другая публика.

— А может, тогда пусть под всем диалогом звучит фоном эта песня?

— Нет, ни к чему, тоже отвлечет. Тут ведь все тот же замес эмигрантской тоски с любовным нервом.

— Ах, вот как ты все это видишь?

— А что тут не видеть-то? Достаточно, чтобы он просто напел, а сколько именно — он сам почувствует, когда у него в руках будет текст.

— Можно подумать, он его не знает — он там был, и все это так и было.

— Так?

Я не знала, что ответить нашему демиургу. Я сама уже перестала различать, где живой настоящий человек, а где — придуманный мной персонаж. А теперь на наших глазах должен был родиться и третий — тот, которого он сам и сыграет.

— Вы извините, я вас, как всегда, отрываю от повышенного, но где мы будем обедать? — появилась на веранде Рыбакова. — Поедем куда-то или я вас здесь накормлю? У меня рóштить есть.

— Да не хочу я никуда ехать с тобой! — сказала я. — Вот вчера поехали в кафану на горе, и что ты устроила? Какой-то пионерский лагерь! «Ты заказывай ягнетины на роштиле и поделишься со мной. А Лена пусть берет мешано мясо на двоих. Пáсуль возьмем на всех, здесь отличные шквáрцы — тоже все должны съесть» — всех перебивала, расталкивала, тебя никто уговорить не мог.

— А что такого? Я же хотела, как лучше!

— Не надо за меня ничего хотеть!

— Да, а ваш вежливый серб, он даже не мог себе представить, что бывают такие нахальные женщины, — вставил Никита, — он думал, ты просто чего-то не поняла, и совал тебе меню: «Татьяна, здесь только цены указаны в килограммах, а подают, как везде, порциями»...

— Она остановилась, — гордо заметила я, — только когда я на нее прикрикнула. Сидят взрослые, я бы сказала, половозрелые люди, а она им командует, как заказать обед!

Рыбакова надулась и пошла за роштилем.

42.

Белград лежал перед нами во всю ширь горизонта. Мост над Савой, белые домики, утопающие в садах на первом плане, а за ними — высокие коробки времен социализма и верхушки старинных храмов.

— А Калемегдан видишь? — он показал рукой на блестящую гладь реки. — Вон там, прямо над водой — стены крепости. И даже маленького Победника видно.

Мы сидели, разложив бумагу с режиссерскими поправками, в кафе на высоком обрыве в парке, откуда и открывался этот роскошный вид.

Он читал медленно, переспрашивая ударения и смысловые связи: — А вот это прочти ты. Здесь давай я уберу слова «он сказал», я ведь и так говорю. Смотри, как дойдем до места про маленькую желтую хризантему, где ты вспоминаешь песню, то я сразу начну напевать.

— Это неправильно! Тут надо просто словами.

— Подожди, ты не знаешь, как я хочу это сделать, — и он начал проигрывать этот кусок, перебивая слова мелодией песни: «...и мирис, мирис калопера...»

Где мне устоять перед его трактовкой: — Решайте все с Никитой.

— А вот этот диалог надо весь делать от первого лица: «он засмеялся». Засмеешься как-нибудь сам. И вот эти слова — про счастье — я сейчас тоже перепишу как твои. Вот, готово. Сыграй это...

Он сел ко мне лицом, упершись двумя руками в скамейку. Лицо его вдруг изменилось — оно стало бледнее, а взгляд потемнел, — или это так упали тени. Белград, золотистый в лучах заходящего солнца, стоял за его спиной как гигантская декорация.

— Мне нравится, когда я слышу счастье в твоем голосе.

— Вот так, — подумала я, — именно так он скажет это перед всей Москвой.

43.

По дороге из Белграда в Лозницу нас исхлестал дождь. Огромная черная туча, похожая на дым из трубы, била во все стороны молниями. Мы ехали молча: Татьяна берегла силы — ей предстояло вести машину еще пару часов по скользкой дороге, а мне не хотелось ни двигаться, ни думать. Просто сидеть и перебирать в голове, как картинки с выставки, эти короткие белградские дни. Мне надо было уже через пару дней возвращаться в Черногорию и ждать там всю нашу компанию, которая собиралась приехать в Будву на Форум русских европейцев. Все туда ехали, кроме одного — что ему наши эмигрантские дела, у него съемки и все такое — собственная жизнь.

— Я вдруг представил, что наши разговоры услышал кто-то другой. Он ведь просто не поймет ни слова.

— Так всегда бывает, — думала я над этими его словами, глядя сквозь мокрое стекло машины. — Накапливается куча каких-то словечек, реплик, обрывков, внутренних цитат, которые что-то значат только для двоих. Воспоминания о каких-то мелких происшествиях — достаточно просто назвать место: «а помнишь эту амбулаторию», «ты мне, кстати, так и не рассказала, что

я тогда наговорил», — и мы уже смеемся, и наша вечная русско-сербская путаница — все это становится узорной вязью, которой теперь должно хватить, чтобы эта таинственная близость не растаяла, как утренняя магла над Белградом.

Я включаю компьютер. Вечером ушла усталая и просто закрыла крышку. На открытой почте — вчерашние письма: «Мы уже дома. Таня отдыхает, я пью на веранде». И ответ: «Это самое главное. До завтра». На ноутбуке — во весь экран — он с гитарой на сцене. Моя утренняя доза.

Не успели вчера войти в дом, как появилась Рюлова. Она ездила в Боснию — обычная операция, называется «визаран»: смотаться на пару часов в другую страну, чтобы получить на границе штамп в паспорт и уже с ним продлить время пребывания в Сербии.

Рюлова усталая и голодная.

— Мы там тебе профитролы из «Перлы» принесли. Но перед отъездом на всякий случай положили в морозильник.

— Как съездили?

— Да все отлично. Купили Лене новое платье, — говорит Татьяна, не отрывая головы от диванной подушки.

— Давай я расскажу, — я выпиваю глоток вина и подвигаю себе тарелку с сушеной аронией. — Приехали мы, короче, в новый торговый центр. Разделились, Таня

пошла на первый этаж, а я наверх. Брожу там, ничего мне не заходит, и вообще я смотрю не на витрины, а на экран телефона, он сейчас освободится с работы и заберет меня отсюда.

Спускаюсь по лестнице, в «Зару», где оставила Татьяну, и она прямо тут же попадает мне навстречу около примерочной, с кипой тряпья в руках.

— Смотри, — говорит она возбужденно, — какое я классное платье нашла! Там и твой размер есть. Давай померяем — кому подойдет, тот и купит.

Летнее платье с красными цветами. Мы быстро переодеваемся в одной кабинке и выходим в проход, чтобы сравниться в большом зеркале.

— А платье, — продолжаю я, — они немного халатного типа, знаешь, как сейчас модно, с пуговицами до низу, и выглядим мы с Рыбаковой как две уборщицы в больничном коридоре...

— Неправда! — Татьяна даже садится на своем диване, — она все придумывает, платье очень красивое!

Рюлова грызет замерзшие профитролы с кремом.

— Дальше давай рассказывай!

— Ну так вот, Рыбакова это первая сообразила и быстро уступила платье мне. — Да все наоборот было! — кричит Рыбакова с дивана. И еще долго ныла про свое самопожертвование — типа, отказалась ради подруги от такого платья: ей, мол, сейчас нужнее для самоутверждения.

— А мне и вправду так понравилась это платье с красными цветами — легкое такое, прямо снимать не захотелось, — и я вышла в нем из примерочной и поперлась прямо к выходу. Тут-то все и зазвенело — и двери, и телефон. Охранники бегут, я хватаю трубку, ну, как Ассоль буквально: «Я здесь, я здесь»...

— Она врет! Таня, ведь она врет?

— Она вечно придумывает, — говорит Рыбакова, и над диваном появляется ее пушистая голова и веселые восточные глаза.

— Ладно, — милостиво соглашаюсь, — я тебе фотку в этом платье покажу.

— А где это ты?

— Не знаю, какой-то белградский парк.

— Чудесное платье. И вообще — снимок классный.

— Профессионал снимал.

— Неси платье.

— Лень. Давай уже все завтра.

44.

По советским меркам я вышла замуж поздно — в двадцать восемь лет. Это сейчас бы сказали — куда спешить. Знакомство наше, если пересказывать сейчас, по реалиям и непонятно будет, а тогда было совершенно типично для довольно густого слоя петербургского андеграунда (первое незнакомое слово). Мой друг, признанный поэт Юрий Галецкий — его строчки уже

попадались мне здесь на подороге, — как-то попросил помочь ему сделать подарок для одного своего приятеля, а точнее — для маленького сынишки этого приятеля. Хотел Юра подарить детскую книгу. Книг — настоящих книг — так было не купить. Что-то доставали из-под полы (придется, видимо, делать сноски), целые серии приключений типа «Мушкетеров» и скандинавских детективов обменивали на макулатуру (даже вспоминать не хочу). А я тогда работала в книжном издательстве, которое микроскопическими тиражами издавало красивые, роскошно иллюстрированные Трауготами детские сказки. И мне как сотруднику давали право купить одну для себя. Вот эту книжку Юра и попросил. Я с радостью согласилась, а сказал бы мне кто тогда, что сказки Гауфа изменят мою жизнь, причем не раз... Я принесла книгу. Юра обитал на Петроградской, недалеко от особняка Кшесинской, на восьмом этаже без лифта, в маленькой комнатке, где за занавеской пряталась кровать, у стены напротив книжного шкафа стоял маленький столик с двумя креслами, а посреди лежал ковер, на котором обычно и располагались гости, книги и бумаги.

Мы сидели с поэтом в круге света от высокого торшера, когда раздался звонок. Юра вышел в коридор и скоро вернулся, сопровождаемый высоким молодым человеком, по-южному смуглым и черноволосым.

Юра сделал широкий жест в мою сторону и, обращаясь к моему будущему мужу, сказал: «Голя, а вот это твой подарок!»

Это я сейчас вспоминаю с иронией, а тогда мы пережили весь положенный в нашем полумертвом Петербурге-Ленинграде романтический набор. Я даже стихи писала. Их другой мой приятель перекладывал на музыку и пел под гитару. А Галецкий ядовито замечал, что это всего лишь восторженный парафраз на Ахматову. Ну да и ладно. Мы вместе ходили на какие-то канадские фильмы, стояли в очереди в кафе-мороженое «Лягушатник», единственное в городе приличное, с зелеными бархатными портьерами, где давали коктейль из шампанского с маленькой вишенкой на дне, встречались на квартирных выставках и слушали, как пел Гребенщиков в какой-то тесной коммуналке, ждали в коридорах суда, по которым уводили друзей-диссидентов, и моя подруга Наташа Волохонская щипала меня и шипела злым шепотом: «Не плачь перед ними!», и все чаще и чаще моя рука находила твердую и уверенную ладонь — ее можно было сжать, когда страшно, опереться, когда в растерянности, и ухватиться, чтобы перепрыгнуть через лужу.

Еще помню огненное атласное платье, которое мама сшила мне к Новому году, и ту новогоднюю ночь, когда решились наши судьбы.

Первая семья у него распалась, и тот самый мальчишка, его звали Миша, которому и покупались рисунки Трауготов, жил с бабушкой. Кстати, уже потом, много лет спустя, я спросила Михаила, помнит ли он ту историческую книгу, и к моему удивлению — помнил.

Ту новогоднюю ночь мы собирались провести вчетвером: мой брат Игорь, тогда еще совсем мальчик, школу заканчивал, и Лайма, она была просто невероятная красавица, с черными кудрями как у Анджели Девис и тонким белым прибалтийским личиком. Я ожидала Толю, он должен был позвонить — тогда как-то без звонка и не принято было приходить в дом, особенно первый раз.

Стол накрыли в большой комнате, придвинув к дивану: классический набор из холодца, который приготовила нам перед отъездом мама, салата оливье, неумело нарезанного Лаймой, и бутылки советского шампанского в блестящей серебряной обертке. А он не звонил. Игорь сочувственно доедал салат, Лайма шумно вздыхала, а я с недоумением теребила ожерелье из маньчжурского ореха. Мне тогда уже казалось, что все решено. Игорь вскрыл шампанское, и мы выпили, правда без заметного энтузиазма. Наконец Лайма решительно поставила недопитый бокал с шампанским на стол, подошла к телефону и сняла трубку: там стояла глухая тишина. Этот чертов телефон не работал. Не судьба.

Мои младшие переговаривались в углу дивана шепотом, а я ушла в спальню. В темном окне стояла тишина. В домах напротив светились, мелькали блески елочных гирлянд и время от времени вспыхивали искры бенгальских огней. Уличный фонарь выхватывал круг света, в котором кружился снег. Я подошла ближе к окну. Там в темноте, в метели, в ночной промозглой тиши-

не стоял человек, с которым мне предстояло разделить жизнь.

Я распахнула окно, высунулась в ночной холод и закричала:

— Что ты там стоишь? Иди скорее домой!

Первая его жена вышла замуж еще раньше меня и, взяв ребенка и Толину подпись, уехала за границу. Так что Мишу мы увидели только через двадцать лет.

45.

— Прости, Рюлова, — мысленно сказала я и скопировала письмо. Пару дней назад я послала ей прочитать тот самый мой единственный рассказ, который я написала за все четыре года эмиграции — «Скитница». Мучительное сходство языков, которое то суффиксом, а то и падежом, вдруг как лучом фонарика высветит еще один смысл привычного слова. «Скитница» — сербское слово от русского глагола «скитаться».

«Спасибо, Лена. Я его сейчас прочитала. Это про меня, про нас всех...

Сегодня утром отвезла кота ветеринарам, чтобы дать ему последний шанс — перезапустить почки. Кота у меня забрали, целый день ему кололи капельницы, а вечером сказали приехать за ним.

Я ехала, если честно, за трупом, и ревела. Понимала, что он слишком слаб, чтобы пережить эту процедуру.

На окраине Осечины подобрала Костю, который привез ему лекарство из Белграда. Он пошел в клинику забирать кота, а я тихо сидела в машине и молилась. И кот оказался жив.

И ты знаешь, я поверила в чудо. В то, что он поправится и что все будет хорошо. Что я выздоровею, что Маринка вернется, я напишу то, что давно вынашиваю, и, может быть, даже влюблюсь. И у меня было целых три часа, когда я верила в чудо.

А кот умер.

Он просто ждал Костю. И умер у него на руках.

Так что чуда не будет, Лен».

Говорят, что сербов научили держать домашних питомцев первые русские эмигранты. Вот бы спросить ученых: неужели кому-то тогда и впрямь удалось вывезти с собой собачонку, или это они уже здесь своих любимцев подбирали? Вторую большую волну — уже в 70-х — тоже не баловали, там с людей все, до штанов, на границе снимали — не до котов. Вот дальше, уже в наш черед, поехали с семьями, чадами и домочадцами.

Когда мы уезжали, то наша овчарка еще какое-то время оставалась на привычном месте, охраняя опустевший дом. Потом в доме среди соснового леса поселились другие люди, а нашего Ярика посадили в микроавтобус с вольерами и повезли через всю Европу в Черногорию. Он так ничего и не понял, не ел всю дорогу, и когда его наконец высадили на запраочной станции в Будве

и передали хозяину, у него даже не было сил радоваться. Пес добрел, шатаясь, до своего нового дома, упал и проспал сутки. Но моего мужа с тех пор считал своим спасителем.

А ведь в Москве это была моя собака. И брали его для меня. Одновременно с регулярной охраной. Понятно, что щенок функцию, которую на него налагали, мог исполнить только через год, но его присутствие давало мне почему-то больше уверенности, чем могучий охранник, который молча и терпеливо следовал всюду за мной. Терпеливо — это снося мое раздражение и капризы.

А это мы участие в выборах приняли. Кто знает, сколько лет Ярику, легко угадает, в каких именно: угрозы — сначала смсками, потом звонками сотрудникам, — все как-то шло вокруг меня, но мимо. Я хорошо помню текст, который я написала в тот вечер — он назывался «Аутодафе» и говорилось в нем всего лишь об одном журналисте, просто сжигавшем свою репутацию в костре этой загадочной избирательной кампании, от которой никто и не ожидал столько страсти. Потом уже, спустя много лет, сообразили, во что влезли. Я отправила текст туда, где велась кампания, и ушла домой. За мной собралась и двинулась к выходу моя молодая помощница. Она нажала кнопку для вызова лифта, лифт подошел. Из него вышел незнакомый мужчина и направился в сторону нашего офиса. Девушка поехала на лифте вниз, эти пять минут и спасли ей жизнь. Парень был вооружен, он быстро справился с нашей охраной на входе и прошел

в мой кабинет. Через полчаса там не было ни одного целого компьютера. Я приехала в офис, и первый звонок был от моей подруги-пиарщицы: «Немедленно уничтожь вчерашний текст».

Я взяла охрану, и по интернету моя помощница нашла мне щенка овчарки. Сейчас-то я понимаю, что уже тогда надо было брать билеты в Белград. А я взяла Ярика.

И вот теперь мы все вместе гуляем по набережной и в некотором шоке наблюдаем, как наш пес, который любил спать брюхом на сугробе, вежливо обнюхивает пальмы.. Он стареет, плохо переносит жару и хромает на обе задние лапы. Не любит оставаться дома один, боится грозы, а иногда ему снятся тревожные сны, и он среди ночи приходит к хозяину, бьет его лапой и просит посидеть с ним немного на балконе.

Мы думаем, что ему снится зима.

46.

Конечно, он на меня влияет. Было бы странно, если бы я тоже не «зеркалила» и не считывала чувства человека, который стал мне близок. Или казался близким.

Подул ветер, и вдруг полетели листья. Совсем немного, всего лишь первая золотая горсть, которую осень бросила мне под ноги. В чашке стынет кофе, сквозь зе-

леную вязь деревьев просвечивают желтые кукурузные ряды, красная крыша домика венчает косогор, а над дальними холмами темнеют облака. Скрипит дверь, и сквозь прозрачные занавески я вижу, как Татьяна склонилась над экраном: это она взялась уже за следующую книгу о Сербии — пусть пока начинает ее без меня, у меня есть чем заняться.

Есть у нас, экспатов и эмигрантов, такой распространенный мем: «не для того я уехал, чтобы...» Ну а дальше каждый добавляет по ходу: чтобы терпеть хамство чиновников, чтобы стоять в очередях, чтобы притворяться, чтобы сто первый раз слушать про Вашингтонский обком и происки Ватикана. Рассказы соотечественников, которые оказались здесь, на Балканах, раньше меня и пережили бомбардировки, всегда вызывали безусловное сочувствие, но ведь и мне было, что рассказать!

О том, как я ехала по Рокскому тоннелю, а навстречу мне нескончаемой вереницей двигались гигантские бронемашины, о том, как мы сидели у костров на площади перед Мариинским дворцом и знали, что танки уже подошли к Сиверской, о том, как я лежала на полу в холле отеля, а у меня над головой прошивали воздух автоматные очереди рижского ОМОНа, о том, как тащили на носилках нашего оператора с простреленной головой.. Я не ищу вселенских виноватых — может, потому что я давно знаю ответ.

Но оказалось, совсем другое дело, когда об этом говорит серб. Оказалось, что совсем другое дело, когда ты вдруг начинаешь ощущать чужую боль как свою.

И это не о происках Ватикана и отравленных комарах.

Это о том, как белградцы продолжали жить своей обычной жизнью, словно не замечая падающих бомб. Катили по Кнез Михайловой улице коляски, пили кофе в уличных кафе, — да, да, и в твоей любимой «Снежане», где делают лучшую в городе питу с яблоками, — спокойно шли на работу и спешили на свидания.

Это о том, что, конечно, в Ужице было легче — они точно знали, куда метят томагавки: мост и почта, — а ведь белградцы не могли даже предположить, куда попадет следующий удар.

Это о том, как молодой парень стоял на сцене с гитарой и пел, слыша свист томагавка, летевшего к мосту.

Говорил он спокойно: «Я просто это уже пережил» — но лицо его менялась. Исчезал всепобеждающий артистизм, ирония, даже обычная легкость, — он будто даже становился старше, взрослее, — вдруг обрисовывался резкий профиль и жесткая складка сжимала этот нежный рот.

— Вот с такими лицами, — сказал Никита, — они и шли на Косово поле.

47.

— Мне бы хоть раз появиться у вас без слез и соплей, — это в нашу с Татьяной вечернюю идиллию вламывается Рюлова.

Мы с Рыбаковой лежим на диванчиках: я переписываюсь с Асей, которая читает новый кусок моего текста — впрочем, ему уже дали взрослое имя и зовут торжественно «твой роман», — а Татьяна курит и что-то пишет в фейсбуке.

— Кота похоронили, — говорит Рюлова лаконично, но мы все понимаем, что это только начало.

— Иди ляг со мной и прорыдайся, — говорю я.

Рюлова втискивается между мной и диванной спинкой и, хлюпая носом, читает мне в спину монолог на смерть кота.

— Постой, — говорю я, — ты вчера собиралась к Корольковой краситься?

Рюлова взлетает в воздух и несется на середину комнаты — под свет. Она крутится, раскинув руки, и ее свежесрыжие кудряшки кружатся вместе с ней как обруч.

— Здорово, да?

Мы тоже слезаем с диванов и изучаем работу художницы Корольковой.

— Выдающееся произведение, — говорю я, — а чем это?

— Да хной!

— Я тоже всю молодость красилось только хной, была рыжая, как Ася Штейн, ну тогда других красок не было. Погодите, не орите, мне надо домой позвонить.

— Толя, — пробиваюсь я сквозь перерывы на линии, — меня завтра Никита до Лепетани довезет. Ему дальше надо будет повернуть в Прчань. Встретишь меня у парома?

— Конечно! Ты только позвони, когда въедете в Черногорию!

— Ладно, до завтра, пойду последний вечер с подругами поболтаю! Рюлова, а ты видела, мне Лена Королькова картину подарила?

— Конечно, она пока меня красила, все рассказала. Она утром проснулась и вдруг решила написать тебе цветок калопера. Она сначала хотела стилизовать, а потом говорит — нет, лучше достоверно, а то всей горечи не передать. И еще она очень удивлялась, почему тебя это так потрясло?

— Да потому потрясло, что Королькова еще даже не читала роман. Откуда у нее этот образ — калопера? — параллельно я пальцем двигаю экран. — Девочки, почему он сегодня весь вечер не звонит? Лайкнул с утра пару моих постов — и тишина.

— А что, должен был? — подает голос Татьяна.

— Да он мне ничего не должен! Не должен, не должен! Но почему он не звонит?

— Я с тобой, как в школе: «ах, он не позвонил», «а что он сказал», «а ты, а он?»

— Тебя это раздражает?

— Да почему же, — пугается Рыбакова, — наоборот, очень трогательно. Просто удивляюсь. Вот мне, например, всего этого совсем не нужно. А вот вы, кстати, ни одна, даже лайка к моему последнему посту не поставили! А он для меня очень важный!

— Как не поставила, я сразу поставила!

— А Рюлова?

— А у Рюловой нет интернета!

— У меня алиби!

— Так пусть сейчас ставит. С моего телефона! Почему тебе этого не нужно?

— Потому что я — человек самодостаточный.

— И я самодостаточный! — пискнула Рюлова и сама устыдилась.

— Получается, я одна из вас не самодостаточная?

— Конечно. Ты сама посмотри на себя: один — встретить, другой — позвони...

— Он не звонит, Таня!

48.

Давным-давно при сходных обстоятельствах совсем другой человек смотрел на меня и сердился: «Ты сама дергаешься и меня задергала. Что я должен все время доказывать или подтверждать? Мои чувства не меняются

каждые три дня! И от того, где я нахожусь, они тоже не меняются, хоть я в Москве, хоть в Венесуэле».

Теперь-то я вижу: одно дело было выяснять отношения с русским, про которого знаешь все, буквально каждую реакцию, наперед, и совсем другое — здесь, в чужой стране. Здесь непонятен язык жестов, ты не можешь угадать, о чем говорит тебе рисунок тела и даже мимика. Ряд волшебных изменений милого лица.. Я даже не могу определить, интересно ему или уже скучает. Ну, мой-то случай совсем сложный: милое лицо натренировано в Академии искусств и на съемочной площадке на любую реакцию..

Мужская рука на твоём плече — это ничего не значит или значит все? Как отличить дружеское объятие от едва сдерживаемого? Точно знаю: если официант с милой улыбкой сообщает, что за твой кофе уже заплатил вон тот господин за столиком у окна — ты можешь просто любезно кивнуть и идти дальше по своим делам, а можешь улыбнуться и сделать приглашающий жест — мол, прошу за мой столик.

А как определить, где грань между энергичным дружелюбием и намеком на продолжение отношений? Эти границы и так очень тонки и чувствительны, но у своих ты легко определишь, например, по долготе взгляда и лишним секундам, когда твоя рука задерживается в крепких мужских ладонях. А как здесь, если просто сосед по дому, встретив тебя на пляже, буквально душит

в объятиях, словно ты только что вышла из больницы после тяжелой и продолжительной болезни?

Даже между питерцами и москвичами есть заметная разница: у нас в Петербурге дистанция между двумя людьми — на расстоянии протянутой руки, и преодоление этого расстояния и есть тот поворот земли под ногами, который меняет отношения. А если москвич кидается к тебе с распростертыми объятиями, это означает только то, что у него накопилось к тебе дел.

Помню, приехала как-то в Петербург из Москвы, чтобы познакомить своего знаменитого друга с моим близким кругом. Мы собрались в ресторане, как сейчас помню, в гостинице «Европейская», и заказали обед.

— А что тебе такого интересного принесли? — оживленно спросил мой москвич, на глазах у остолбеневших петербуржцев залез ножом и вилок в мою тарелку и отрезал кусок лосося.

Для москвича значение в тот момент имел только лосось, а для питерских это означало одно — скандал: мало того, она, замужняя женщина, имеет связь (тут как раз наш вольный народец никакой северный темперамент особо не сдерживал), но приличия! Она эту связь публично демонстрирует!

А здесь, в Сербии, все сидящие за столом свободно накладывают себе ягнятину из общей посуды, специально все берут разные блюда, чтобы больше попробовать.

Что значит, если он говорит рискованные шутки? Что для него рискованно, а что нормально в компании взрослых людей?

А главное — ведь и он тоже не понимает моих реакций! Я представляю, если я даже на фоне раскованных москвичей выглядела чопорной классной дамой, то как он может ухватить смысл моей пластики здесь, среди этих шумных и свободных людей?

Даже язык, который один мне поддержка и опора, и тот подводит меня.

— Прошу, не говори мне больше «как ты хочешь», я чувствую себя неловко.

— Почему?

— Потому что человек, который так спрашивает на сербском, выглядит немного приниженным. Говори: «као год желиш».

— Так это по-сербски.

— Просто хочу, чтобы ты знала.

— А ты тогда не отвечай на мои вопросы словом «можно». Потому что мы так говорим, когда что-то разрешаем. Я тебе спрашиваю, например, мне тебе переслать письмо? Ты говоришь: «можно» — типа, разрешил. Хочется сказать: спасибо.

— А как говорить?

— Говори просто — «хорошо». И еще, пожалуйста, не говори мне больше никогда «мне все равно».

— А что тут плохого? Это значит, я предоставляю выбор тебе — ведь так?

— Нет, это означает: я к тебе равнодушен, мне плевать, что ты делаешь, «баш ме брига»!

— Ужас! Что же ты сразу мне не сказала? Я так тебе все время говорю!

— Ну, мне надо было сначала догадаться, что ты не знаешь значение выражения, а не просто проводишь черту: вот здесь мы работаем вместе, а вот здесь — ничего личного, держись подальше.

— Как ты все это терпела так долго!

— Думала, вдруг ты и вправду просто высокомерная телезвезда.

— Я сейчас оставляю тебя здесь, а сам схожу за машиной.

— Ах, не оставляй меня, дорогой, не оставляй, пожалуйста!

— Что не так? Что ты смеешься? У нас это просто техническое слово. Как сказать лучше?

— Скажи: «я тебя здесь поставлю», или «ты подожди меня, пока я схожу за машиной», а таких страшных слов больше не употребляй!

— А можно я скажу так: тогда мы с тобой сегодня временно расстанемся...

Что означает, когда он говорит: «а ты наготовь своим побольше зимних запасов, и мы с тобой уедем вместе на

Тару, там у меня друзья, мы можем у них остановиться, как только ты захочешь».

Если бы мне так сказал русский, то никого двойного толкования у этого предложения бы не возникло. А тут? Это может обернуться обычной экскурсией по ленинским местам. А может, попросить его повторить то же самое по-сербски? И что я тогда буду делать?

49.

Как удобно путешествовать с солидным женатым человеком! Никакой романтики, но зато не надо волноваться, что растрепались волосы или неудачно подвернулась юбка. Можно спокойно дремать или, наоборот, выглядывать из окна машины и лениво обмениваться словечком-другим со спутниками по путешествию. Никита вовремя остановится у заправки, чтобы женщины забежали на минутку, пока он покупает воду и кофе, не станет торопить, когда мы с его женой сядем на скамейке у зеленого озера и, сняв кроссовки, будем долго рассказывать друг другу о последних посещениях врача...

Холмы поднимались, становились выше и круче, и леса сползали с них, обнажая темные скалы — мы приближались к Черногории.

— Посмотрите! — сказал вдруг Никита, — море!

Я еще ничего не видела, но в раскрытое окно уже пахнул морской ветер, смешанный с запахом сосен и цветущих олеандров.

Сезон уже заканчивался, мы быстро проскочили границу и за полчаса докатили до переправы через залив. Очереди не было и там. Паромы медленно разворачивались у пирса, серые каменные дома с террасами и окнами, узкими, как бойницы, казались слитыми в единую неразрывную картину: черные скалы, блеск ровной водной глади, тонкие кипарисы и белые корабли, на один из которых и закатилась наша машина.

Мы тут же вылезли из нее: Никита — перекурить, а я — перегнуться за борт и смотреть, как пенится и бежит за нами водная струя.

Именно этот открыточный вид — Бока-Которский залив, парусники на синей воде и церковный купол на острове — был первым, что я увидела, когда прилетела первый раз в Черногорию. Муж ждал меня в Герцег-Новом, он всегда приезжал на новое место нашей жизни первым, чтобы я с детьми уже перебиралась в свитое гнездо. Самолет тогда прилетел рано, чуть ли не в шесть утра, он делал долгий круг над морем, и я смотрела в иллюминатор, как поднимается солнце, и огненный цвет зари заливает черные скалы и прозрачное море. Было прохладно — я ежилась в летней куртке, стоя так же, как сейчас, у бортика на пароме в Лапетани из Камениари. Я не знала еще тогда, что эти названия будут так же легко перекатываться во рту, как слова «МКАД» или «Невский», не могла предугадать, как постепенно эти маленькие города наполнятся узнаваемыми лицами, как быстро привыкну я к соли на плечах и острому камешкам

под ногами на приморских пляжах. Тогда я смотрела на всю эту ошеломляющую красоту, немного растерянная, совсем не готовая к такой резкой и бесповоротной перемене в жизни своей семьи, впитывала в себя эту картину и думала: «Это моя последняя остановка»...

Муж встречал нас на той стороне переправы и весело выговаривал: вы встали не у того бортика! Я хотел сфотографировать, как вы стоите на пароме!

Он переложил чемодан в нашу машину, мы сто первый раз обсудили, как спишемся — ну, через пару дней, когда Никита и Лена немного отдохнут и отмокнут, — и смотаемся все вместе в село Негуши, за новым вином и старым пришотом, — и поехали.

— Сразу домой или куда-то заедем?

— Знаешь, я что-то страшно голодная. Давай остановимся в какой-нибудь кафане на берегу и пусть нам принесут мидий!

Часть 4 СКИТНИЦА

50.

Мой первый роман, который я писала лет десять тому назад, вел главных героев через весь двадцатый век. И у многих из них линии и судьбы разрешились на последней остановке — в Крыму, в Керчи и Севастополе, откуда уходила эскадра Врангеля, увозя с собой все, что осталось от России: раны, боль и память. Там я расставалась с ними и возвращалась в покинутые ими города, оставленные на позор и растерзание. Четыре года я собирала документы, ковырялась в архивах, листала старые уголовные дела в картонных папках с белыми завязочками, читала дневники и желтые письма. Странно, но мой интерес, упорный и даже болезненный, к этим людям, обрывался именно там, в Крыму. Я разглядывала блеклые фотографии галлиполийцев, ища среди них знакомые лица, и знала, что дальше была Сербия, но для меня это была уже другая история.

И она настигла меня.

Я приехала в Белград поздней осенью. Контракт на работу в сербской столице начинался с января, и прежде

чем дать окончательное согласие, я все-таки хотела посмотреть, как ляжет мне на душу этот незнакомый город. Меня встретили в аэропорту и привезли на улицу Кралицы Натальи. На последнем перекрестке перед местом, где мне предстояло провести целый год, я увидела надпись: «Тише, не шумите! Здесь рождаются дети». Русский Дом стоял лицом к лицу с роддомом.

В гостевых комнатах внутри этого бело-желтого особняка, который магически напоминал петербургские дворцовые колонады и мраморные парадные, меня поселили и выдали ключ от здания на случай, если я вернусь поздно.

Я и вправду вернулась поздно, загулявшись по городу. Шел снег. Мелкий и совсем не холодный, он таял, едва коснувшись мостовой, но его все-таки хватало, чтобы кружить вокруг уличных фонарей, наполняя ровные, словно очерченные циркулем круги света по-петербургски медленной метелью. Пешеходная улица уже была украшена к Новому году, не хуже, чем в любом европейском городе, сверкали витрины, а в кафе на Кнез Михайловой пахло горячим вином с гвоздикой и корицей. В конце улице темнела громада крепости Калемегдан. «Мне никогда не произнести этого слова», — помню, подумала я.

Откуда-то, из каких-то таинственных глубин поднималось во мне чувство защищенности. Я могу, конечно, объяснить все, что угодно. Например, это возникло потому, что уж очень незащищенно было на родине, или

потому, что я хорошо помнила, как защитили здесь, на этих же улицах, тех первых русских, которых вымело сюда из родной страны. А может, это были тени последних русских мужчин, которые умели держать спину. Но это уже было неважно. Город окружал меня этим чувством, как «маглой».

Я вернулась пешком к Русскому Дому, поднялась на мраморное крыльцо, влажное, скользкое, с забившимися в края ступенек мокрыми листьями, и вставила ключ в замочную скважину. Странное чувство охватило меня, словно я сейчас поверну ключ и войду к ним, к этим людям, усталым и израненным, все потерявшим, но живым, настоящим, более русским, чем мы сейчас. Я открыла дверь и вошла в пустой холл.

Одну из моих книг почти сразу перевели на сербский. Мы подружились с переводчицей. Мне страшно нравился ее язык: она была русских корней, ее бабушке вынесло в Сербию с первой волной, она вышла замуж за серба, но в семье продолжали говорить по-русски и учить русскому детей. Я с восторгом ловила, как Людмила произносит слово «музей» через э — такую фонетику я слышала только от своей бабушки, а они здесь его сохранили — настоящее русское произношение.

— Моя бабушка называла это «островной русский», — смеясь, поясняла Людмила с абсолютно сербскими интонациями.

Время от времени мы с ней помогали друг другу — она переводила на моих встречах с читателями, а я разъясняла ей особенности современного русского сленга.

— «Хреново» — это не ругательство. Это описание состояния. Какая погода на улице? — Да хреново. — Как настроение? — Хреново, как никогда.

Людмила серьезно записывала новую лексику и рассказывала мне древние, как мифы, истории про первых русских беженцев.

Это чувство реанимированной, ожившей истории меня не покидало. Люди, которые были героями моей книги, она называлась «На реках Вавилонских», несмотря на всю достоверность и даже документальность, все-таки оставались для меня моими персонажами. А тут они прямо на глазах становились взаправдашними людьми, хотя плоть их растворилась и кровь уже давно была пролита. Я словно в остолбенении читала надписи на могилах в Русском некрополе — имена героев своей книги, чьи биографии восстанавливала по архивам, раны — по картам боевых действий, а реплики сочиняла сама.

Маленький Успенский храм, куда привела меня Людмила, был похож на все русские храмы одновременно. Мы постояли у могилы Врангеля. Я не испытывала горечи — скорее видела, как сцены из кино: вот он собирает офицеров в холле гостиницы «Москва», — я люблю

сидеть там в кафе в красно-золотых креслах не только потому, что это самое русское место в Белграде, просто они лучше всего пекут пирожные эстерхази, — или у нас, в Русском Доме, где даже деревянные перила отполированы руками, которые не сложили оружие — и не победили.

Храм этот, как говорят гиды, уникальный: в нем нет фундамента. Так и стоит — как на лету, без опоры.

— Зачем строить здесь что-то основательно, — говорили они, — ведь весной нам снова в поход.

Так они и ждали, — не пуская корней, не сдавая оружие, не разъезжаясь по европам. Весной — в поход. А весна сменяла весну, и храм, как их жизни, висел в воздухе.

Есть такое понятие — банальность зла. Я придумала кое-что похуже — банальность горя.

51.

— Я договорился со студией и могу сделать запись в любое время. Мы можем сначала вместе выбрать песни, ты же лучше понимаешь, что подойдет для русской аудитории. И знаешь.. Мне было бы намного легче, если бы ты была рядом, когда я записываю.

— Последние три слова явно лишние. Ты можешь начать монолог сначала?

52.

— Мы никогда, никогда, — яростно говорила Рыбакова, — не будем вести себя как они. Мы не будем сидеть и готовиться к весеннему походу. Мы приехали сюда не для того, чтобы ждать, а для того, чтобы жить!

53.

Я потом часто встречала их, детей офицеров, которые так и осели в Сербии. Больше всего поражало, как это все на самом деле близко. Восемьдесят лет советской власти, которые казались вечными, как ядерная зима, отодвинули в нашем сознании ту настоящую Россию во времена совсем сказочные, где князь Гвидон выглядел реальнее, чем оболганные Романовы. Оказалось, что это всего лишь жизнь и смерть одного поколения.

Высокие старики с негнуцимыми спинами приходили в Русский Дом, который построили их отцы и который отобрали у них, а теперь великодушно пускали, чтобы они могли послушать очередную балалайку в тех залах, где мальчишками-кадетами сидели за партами, где вальсировали на новогодних балах их матери в перелицованных платьях, где собиралось офицерское собрание... Современная Россия была для них обетованной землей: свободная Церковь, открытые границы,

признание их существования. А то, что наш корабль накренился, а может и вовсе дал течь, объяснить было невозможно, да и не к чему. Они радовались новым натуженным праздникам как настоящим и были счастливы, что они больше не изгой. Все больше узнавая, шаг за шагом, будто заново обнаруживая русский след в Белграде, я чувствовала, как вымывается из моих представлений о белой эмиграции романтический флер. Бедность, мелочность, склоки и тоска.

Самое интересное, когда я представляла себе русский исход из Крыма и Галиполи, то путь этот казался мне очень кратким и, как я теперь видела, — пунктирным. Только сама оказавшись в Сербии, я задала себе вопрос: а куда, собственно, приплыли из Севастополя корабли? По Дунаю?

Смешно признаться, но дошло до меня только уже на месте событий: когда я стояла в порту Зеленка и смотрела на гостиницу под названием «Лазарет». Вот сюда, в Черногорию, в Королевство сербов и хорватов, в город Герцег-Нови пришли эти корабли с ранеными, тифозными, потерянными людьми.

И вдруг в душе, в ее немых глубинах,
Опять звучит, надменно и светло:
«Все те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское село»¹.

¹ О.Ф. Берггольц. «Возвращение».

Луна висит над морем как гигантский светильник — не дорожка уже, а целый поток серебра заливает водную гладь. Ветра еще нет, но слышно, как он гудит где-то в горах, и видно, как гнутся деревья в монастырском саду. Дочка еще с вечера унесла с балкона пляжные полотенца, — «юго», осенний ветер, доберется до нас к утру.

В том злосчастном августе мы с Катей, которую за этот год я уже научилась называть вдовой моего брата, стояли на пороге квартиры, в которую ни одна из нас двоих не прибежала вовремя. Какой-то человек в форме протянул нам перчатки. Катя, не поднимая головы, ходила по комнатам и собирала вещи — какие-то сандалии, куртки, ворох лекарств со столика, изредка вскидывая взгляд на разбросанные около кровати подушки. Я вышла на балкон. Луна, желтая, как фонарь на петербургской улице, освещала лодки и катера, которые мерно покачивались в марине у Старого города. Темно-синее море уходило к горизонту, в темноту, где сливалось с таким же темным небом. Я стояла схватившись за перила, и в мою память медленно, но верно вливался этот кусок моря и неба, которые последними видели, как мой младший брат сидел здесь, на этом балконе, один, держась рукой за сердце.

Первое время я даже не могла праздно прогуливаться по этому городку — Герцег-Новому. Я все время

представляла, как эти люди, силком вырванные из своей привычной жизни, пытались как-то наладиться в захолустье на окраине королевства. Маленькая площадь с фонтаном, каменный дом из серого известняка, церковь с низким крылечком и пальмой на входе — вот весь круг их жизни. Мне часто попадались, — да я и специально искала — мелкие осколки их судеб: фотка в журнале — солонка и щипцы для колотого сахара и высокопарная подпись — «столовое серебро», рукописный журнал с картинками, подшивка старых журналов с портретами императора. Банальность горя. За морями, за долами — оборванная как струна жизнь, проигранная страна и изгаженный большевиками Зимний. Здесь — маленькая типография, блошинный рынок и уроки музыки за чашку кофе.

Бывшие — как они могли стать бывшими? — офицеры прокладывали железную дорогу из столицы к побережью. Как-то мне попались воспоминания местного историка, черногорца. Он писал: после работы русские расходились по своим комнатам и практически не выходили оттуда.

А что выходить? С балкона дешевой комнатенки можно смотреть на темно-синее море, туда, вдаль, где оно сливается с небом, и пытаться разглядеть сквозь набегающие облака — серебристый иней на колоннах Исаакия, свинцовые волны Невы на гранитных ступеньках и желтые фонари сквозь снег.

55.

Если отбросить все восторги, то мне было странно наблюдать так близко совсем другой тип мужского поведения. На первый взгляд — мягче, податливее, даже поначалу кажется, — так странно все сфокусировано на тебе и твоих малейших, едва высказанных желаниях. А потом вдруг — стоп! — обнаруживаешь, что двигаешься в четко очерченном не тобой коридоре отношений, поступков и даже настроений.

Для меня, всю жизнь отстаивавшей свою личную независимость, — ощущение почти шокирующее, и особенно тем, что по этому коридору плывешь с чувством удивительного покоя и свободы.

56.

Перешла уже совсем на круглосуточный режим жизни. Проснулась в 2.30. Пожаловалась в фейсбуке. Четверо неспящих морально поддержали. Села на балкон под густо-желтую луну. Быстро начала писать. Обычный оброк: один эпизод — два часа. Поднялся ветер. Он называется «юго» и дует с гор. Воеет страшно и гнет деревья. Ярик боится ветра. Пришел ко мне, поджав хвост. Потом, видно, устыдился, не щенок все-таки, подумал, что мне тоже страшно и пошел будить мужа. Тот проснулся, закрыл балконы и ушел спать дальше. Тут вылезла Аня. Она решила проверить, все ли унесли с балконов. Тоже

162

ушла. Было около пяти утра. Я позавтракала козым сыром и внезапно устала. Забыла, что обещала в 5.00 поднять Рюлову. Задремала. В 7.00 пришли лучи поддержки от тех, кому надо рано на работу, в виде уведомлений на фейсбук. Я пошла за кофе. В 7.40 раздался звонок, который я жду всегда. Поговорили, оборвали на кратком: «Все, в эфир». Тут самостоятельно проснулась Рюлова и появилась на экране. Настроила ее сначала писать что хочешь, а потом что должна. Опять проснулись домашние. Надо готовить завтрак и отвечать на письма. В 9.00 выезжаем по делам. А потом купаться и в гости к Никите и Лене — новые вводные. Ночной текст буду править после обеда. Главное — не заснуть днем, потому что вечером нужно будет со свежей головой редактировать чужой текст.

А свой — опять придет ночью как тать.

57.

— Лен, не могла написать раньше, только что вернулись с ярмарки в Тронеше. Жаль, что у тебя не получилось с нами поехать.

— Обидно.

— Ну что делать. Там сегодня людей было — несколько тысяч. Кстати, впервые посмотрела, как твой герой работает и как общается с народом, — со всеми легко знакомится, болтает, фотографируется. Дико популярный.

163

— Да, я это видела уже не раз.

— Он, конечно, просто питается вниманием. Это его батарейки.

— Как и я.

— Так что переборщить с вниманием к нему невозможно.

— Целый роман о нем.

— Единственное, что нельзя — это чего-то от него требовать, кроме того, что он сам дает.

— Да, и это я тоже вижу. Но пока он дает столько, что через край.

— И конечно, ему тесно в Сербии. Долго ли он будет в амплу героя-любownika? При таком масштабе нужна Россия.

— Она и нам нужна.

— У нас есть слово — оно не зависит от возраста и кондиции. А у него — внешность и обаяние.

— Но ты меня понимаешь — это не проходная фигура.

— Ну да, понимаю. Это не мой тип — он легкий, а я не ишу легких путей в жизни. Море обаяния — причем искреннего: он взамен получает так нужное ему обожание. Актер до мозга костей. Еще политики такие бывают, — не в России, конечно.

— Скажу даже кощунственно: это тип А.М. Он тоже в первую очередь — актер, а потом уже звезда и все остальное.

— Вот теперь вижу сходство. Говорят, всю жизнь женщина выбирает одного и того же мужчину. Немцов,

кстати, таким был. Я помню, брала у него интервью, когда он еще был вице-премьером. Обаяние — как будто он прямо тобой увлечен. И совершенно искренне. Он словно питался твоим обожанием. Конечно, женщины падали пачками. Это пока все совсем мрачно не стало. Тогда и он стал мрачен, и это ему не шло.

— А я последний раз Немцова видела как раз на дне рождения у А.М., даже перекинулась с ним парой слов, он куда-то спешил, и да, уже был не весел.. А потом только просила Колю Ускова за меня цветы отнести.. Ты, кстати, с Усковым знакома?

— Понаслышке.

— Тань, я понимаю все про сходство типов. Тут даже ситуация до боли повторяется: звонит, болтает, потом вдруг резко — все, эфир. А ты включаешь телевизор, а там — то ли утреннее включение, то ли «Здесь и сейчас»...

58.

Пробка перед аэропортом стояла намертво. Еще после первого тоннеля стало очевидно, что мы опаздываем, а сейчас прямо на глазах уменьшались шансы и вовсе попасть на спектакль. Летний сезон подходил к концу, и самолеты развозили туристов по миру, освобождая пляжи и приморские рестораны для местных. А мы, местные, спускались с гор и укладывались, и усаживались у прибора, на лежаки и за столики, все лето занятые

под белые, как у снегурочек, приезжие тела. Но дорога на Тиват оставалась еще почти непроходимой. Мы и так выехали за час, хотя по-хорошему от нашей Будвы до набережной Тивата ехать-то всего полчаса. Я ерзала, но молчала. Ясна, как положено настоящей черногорке, хранила невозмутимость и несходящую улыбку на смуглом и резко очерченном лице. Время от времени она приобнимала меня за плечи и тихонько шептала: «Когда ты видела, чтобы у нас хоть что-то начали вовремя?»

В кассе нас ждали билеты, а за кулисами приехавшего на гастроли из Белграда театра — мой герой — Бог мой, я даже не знаю, как его назвать, кто он мне? — короче, я впервые должна была увидеть его сегодня на театральной сцене.

Колонна машин миновала, наконец, аэропорт, и медленно вдвинулась в город. Толя остановил машину около пешеходной зоны и со словами: «Ясна знает дорогу», — поехал обратно, а мы, особенно я, отвыкшая за босое лето от каблуков, побежали туда, где над входом горели огни.

Ясна оказалась права: зрители еще только рассаживались. Огромный зал с широкими проходами был открыт небу, за каменными стенами виднелись верхушки деревьев, и вечерняя прохлада опустилась на нас как благодать. Занавеса, кстати, не было. На сцене стояли декорации, назначение которых было не очень понятно — разве что несколько стульев, мир вещей, которые разговаривают, только когда к ним обращаются. В зале

погас свет, и лишь на стенах в проходах горели лампы, похожие на ночники.

Он вышел на сцену и взял в руку микрофон таким естественным жестом, словно со стойки кружку с кофе. Он разговаривал с залом, а мне казалось — только со мной.

Это была комедия какого-то неизвестного мне хорватского автора, действие развивалось стремительно, актрисы говорили быстро и почти без остановки, и мне, чтобы не упустить сюжетную нить, надо было слушать ни на секунду не отрываясь. Но моя дорогая Ясна, которая всегда готова помочь, каждые десять минут брала меня под руку, пригибалась к уху и спрашивала: — Лена, ты все понимаешь?

— Да, да, не беспокойся, — отвечала я, и две-три пропущенные фразы проваливали весь следующий эпизод.

Впрочем, мне было все равно, я же не на урок сербского пришла. Небольшой холодный комочек, конечно, прятался где-то в глубине души — а вдруг я обманулась, а вдруг он окажется обычным провинциальным (прости, Белград) актером, каких много в их помпезных сериалах, и вся моя восторженность испарится, потому что, видит Бог, мое жестокое сердце не прощает бездарности. И даже просто — обыкновенности.

Но нет. Раскованный, смешной, циничный, — он легко отступал и снова перехватывал нерв спектакля, уходил со сцены легкой мальчишеской походкой и снова

возвращался, смеясь, и одним жестом притягивая к себе весь зал.

Что-то по ходу девушки танцевали, он напевал, чуть отодвинувшись к дальнему микрофону и дав место бойкой актрисе, которую я уже видела на афише и которая меня заранее раздражала, как раздражает все, что составляет его жизнь, в которой нет меня.

Наконец он взял гитару и вышел на авансцену. Что там говорить, меня не удивил умением держать зал. Я и сама при случае справлюсь. Но он владел зрителями так, словно зал был полон его друзей и возлюбленных, он не прилагал ни малейшего усилия, чтобы привлечь их внимание, он будто родился с их вниманием, — только поднимал руку и говорил: «А теперь на пять», — и слегка покачивал ладонью.

— Господи, — думала я, — это же невероятно, это же не может быть тот самый человек, который через час сбежит ко мне по ступенькам, заранее раскинув руки, скажет с этим смешным ударением на первый слог — Е-лена, — и можно будет ткнуться лбом в плечо, прямо при всех, и почувствовать, как скользит по спине его ладонь... Е-лена...

Он что-то говорил публике, шутил, не снимая руки со струн, снова пел, и не командовал ими, нет, и даже не предлагал, только ободрял их улыбкой — и они, словно подсолнухи по дороге в Воеводину, поворачивали голову и пели все вместе вслед за ним, видимо, что-то очень им всем знакомое. Наверное, что-то еще из югославских

времен, думала я, а может, из их школьного детства. Ясна встала, тихо прошла к краю ряда, в проход, и достала сигарету. Я вышла за ней, встала чуть поодаль и смотрела на это знакомое-незнакомое лицо, которое удалялось от меня с каждым словом, каждым тактом, каждым звуком.

И из этого плавного течения балканской мелодии я вдруг ясно различила знакомые слова:

— Я сам скитница, не держи ми место, — он повторял и повторял этот рефрен, словно стараясь, чтобы я услышала и поняла.

И я поняла. Скитница-скиталица, от русского глагола «скитаться», — древний, видно, глагол с этим общим славянским корнем — как же я выучила это слово, когда писала единственный за все четыре эмигрантских года рассказ о бесприютности и тоске.

— Я сам скитница, бежи ми се често...

Прямо на моих глазах они все становились чем-то единым, Бог весть, что их объединяло — этот блестящий актер, родной язык, музыка, которую они знают от рождения, как ветер, как сад, как листья на ветру, и та непонятная общность пережитого, которая так крепка у балканцев и в которой никому постороннему нет места.

Ясна курила и тихонько покачивалась в такт музыке. Уже почти стемнело, и звездный покров висел над нами как нарисованный. Что я здесь делаю?

Легкая рука легла мне на плечи.

Я обернулась:

— Миша! Как ты здесь оказался?

— А я поменял билет и прилетел раньше. Машина прямо у входа. Поехали домой, пора.

— Я сам скитница...

59.

Есть у меня странная особенность, мой добрый друг А.М. называл ее «твоя внезапная страсть». Я вдруг страшно увлекаюсь каким-то человеком, — практически нет общего критерия, который бы сейчас могла определить, как главный, — это может быть и подружка, и новый приятель, и даже политик — однажды, ко всеобщему изумлению, я пару месяцев носилась с режиссером одного из модных московских театров, который и вовсе был нетрадиционной ориентации, — пока его спектакль не провалился публично на моих глазах.

Выглядит это так: меня вдруг становится очень много в жизни этого человека, ему может даже показаться, что это мой жизненный выбор, а потом вдруг — раз — и интерес проваливается как сквозь землю, и меня становится совсем мало, и этот несчастный стоит, озираясь и даже в некотором остоленении «А что это было?» А я уже потопала дальше по своим делам: работа, семья, дети...

170

— Ты бы хоть людей предупреждала, — пошутил как-то мой муж, — иногда зрелище очень нерадостное.

— А ты тоже за мной такое замечал? — с сомнением спросила я.

— Да сотню раз. У тебя даже с Мишей такое было. Странно только, что потом все вернулось.

— Не путай. Это был совсем другой случай. Я просто в какой-то момент прекратила его воспитывать. Может, я впервые начала понимать, как это — принимать близких такими, как они есть. Сама тогда сказала ему: «Других нас у нас нет».

А с Мишей вот что было удивительно. Мать увезла его за границу совсем мальчиком, и не то чтобы настраивала против отца, а как-то так выстроила жизнь, что его не стало не только в их заграниче, их памяти, а просто даже в сознании. Будто мальчишка родился сам по себе. Нашла брата, конечно, Анята. Она у нас вообще девушка пытливая и неугомонная. В один из своих приездов в Петербург — одна из первых ее преждевременных попыток жить самостоятельно, — она, конечно, запуталась и, чтобы не сдаваться родителям, вспомнила, что у нее есть старший брат. Случилось как раз накануне — кто-то из старых Толиных друзей упомянул, что вроде видел его первую жену в Петербурге: наверное, вернулась в Россию.

Брат нашелся. Накормил гамбургером. Выслушал ее путаные объяснения и позвонил отцу.

171

— Что у вас такое происходит? — спросил он строгим голосом.

Сказать, что мы его сразу полюбили — это ничего не сказать. Он просто пришел и занял свое место, встал как в лунку, которая так долго пустовала. Ему даже не пришлось потратить ни минуты, чтобы приноровиться к нам и к ходу нашей жизни, — все выглядело, будто он так и вырос вместе с Аней в нашем доме, в нашем саду, с нашими заботами, друзьями и собаками. Больше всего нас поражала сила генетики. Во-первых, похож на отца он был поразительно — ладно, лицом и фигурой: пластика, жесты, привычки, манера говорить и даже держать вилку — все совпадало, только, конечно, с той разницей, которую я не уставала подчеркивать, что он был веселее, остроумней и забавнее.

В каком-то смысле для меня ситуация была просто фантастическая. К годам, когда любые семейные отношения, мягко говоря, стабилизируются, когда выросли дети и выросла собственная жизнь, точнее две собственных жизни выросли и, ведомые умелыми руками, пересекались кругами — и не пересекались, давая отношениям дистанцию, которая позволяла не теснить друг друга — в этот момент мне судьба протягивает странный подарок: в моей уже много пережившей жизни вдруг появляется человек, невероятно похожий на моего молодого мужа. То есть у меня в жизни их становится двое, — двое похожих красивых и сильных мужчин, один — с седеющей головой и другой — молодой, черноволосый, как

тридцать лет назад его отец, и который смотрит на меня теми же ласковыми карими глазами. И заметьте, — он мне не сын — пасынок.

Мы гуляли по городу, и он провожал меня домой по Фонтанке под мокрым снегом. И я смеялась — машина времени: «Вот так же вдоль этой покрытой льдом реки я шла к Египетскому мостику, держа под руку твоего отца».

Мы уехали на Балканы втроем, не считая собаки, а наш старший остался в Петербурге. Он, как и я, такое же петербургское творение, которое хорошо смотрится на фоне Летнего сада, не любит жару и хочет строить дома только вдоль Финского залива, — он у нас архитектор. Но прилетает к нам в Черногорию часто и с удовольствием. И всегда вовремя. Когда соскучился без него отец, когда Аня болеет, когда со мной начинает что-то происходить — а рассказать некому.

— Понимаешь, не в том дело, что мне здесь скучно. Я даже вида не могу показать, что что-то не так. Они оба — посмотри — особенно Анюта, — так прижились здесь, да и мне все хорошо, но это как тогда в Швейцарии, — помнишь, я тебе рассказывала? Мы сначала уехали в Женеву, и я ходила неделю вокруг знаменитого озера и понимала, что еще пару дней — и я сверну шею этим лебедям... Здесь на Балканах, среди славянской речи и обшарпанных, как на Владимирской, белградских фасадов, — роднее и понятней. Но я не могу жить в стране вечных каникул. Да, правильно, четыре книги

за два года, и еще три сейчас выйдут... но я не могу жить, как в комнате с ватными стенами.

— Ты хочешь вернуться в Москву?

— Нет, я хочу, чтобы у меня здесь была жизнь, как в Москве.

Аня стояла лицом к окну, и я видела, как на ее милом личике вдруг проявилось совсем взрослое выражение.

— Но мы же отпускаем тебя в Сербию... — сказала она глухо, и у меня сжалось сердце.

Два грустных человека сидели в комнате и слушали мой монолог.

После моего возвращения из Белграда они как-то притихли. Меньше заседали на меня с домашними делами, сами чего-то готовили себе по утрам и выходили из комнаты, когда в моем телефоне раздавался характерный звонок...

— Вы же знаете: не могу даже вида вашему отцу показать! Я должна быть перманентно счастлива, что каждое утро вижу море! Я на этом балконе как в вольере! Вокруг меня решетки из невозможности: невозможно снова пройтись по Тверской, невозможно посидеть с подружками в Пушкине, невозможно выйти в прямой эфир или встать рядом с А.М. на сцене, невозможно нестись во Внуково и ругаться на пробки, прибегать в последнюю минуту на спектакль, некуда носить вечерние платья и даже нормальные украшения!

Это я еще не могу им рассказать о самой невыносимой невозможности — о той, которая ускользала от меня, или я от нее, и которая каждый день звучала в телефоне веселым голосом с балканским акцентом: «Когда ты приедешь в Белград?»

— Вы еще прикиньте, сколько мне лет! Как и где я проведу остаток дня?

— С нами...

60.

— А как тебе моя выставка? — спросила Аня.

— Анюта, ты у меня неиссякаемый источник положительных эмоций.

Огромные картонные квадраты с фотографиями для выставки уже стояли готовые у стены в ее комнате.

— Прогресс, — шутили мы. Первая ее фотовыставка была про насекомых: страшные монстры упирались в зрителя огромными нездешними глазами, вторая — на радость участникам — о черногорских котах, и, наконец, на этот раз — люди!

На другой день открывался в нашей теплой Будве Форум русских европейцев, и наша Аня намеревалась получить там свои пятнадцать минут славы — шесть портретов на выставке фотографии.

Выбор был странный, как и все, что делает Аня. Я-то только радовалась, что не пауки. Шесть портретов — шесть наших общих балканских приключений.

Портрет, которым Аня особенно гордится и цены которому я, конечно, определить не могу, — это какая-то, как говорит Аня, супер известная американская певица, которая выступает под псевдонимом LP. Смешная девчонка в лихо заломленной шляпе, — Аня впервые получила заказ на съемки концерта, причем в Хорватии. И мы с ней поехали — в самую жару, сначала на автобусе, а потом на кораблике, через древний Сплит, в городок Шибеник, с крепостью на горе, средневековым замком и садом с лекарственными травами у монастыря святого Лаврентия. Певица честно отработала под оглушительный рев поклонников, а потом так же добросовестно принимала в специально отведенном месте журналистов и фотографов. Я даже из-за угла — меня не пустили — щелкнула Анну на телефон. Со знаменитостью. Но на выставке, конечно, будет портрет — на сцене, в ковбойской шляпе, с сияющим взглядом.

Вот тоже из Хорватии — пианист — видны только лицо и руки, а рояль сливается с темнотой. Это мы на концерте на церемонии, где мне давали какую-то награду за мои усилия — скромные — вернуть на Балканах интерес к русской литературе. Мой любимый — добродушный краснощекий кондитер в поварском колпаке с белоснежным тортом в руках, — это уже из нашего летнего путешествия по Сербии. Два портрета с прошлого года форума — Борис Гребенщиков и Владимир Сорокин. Да, не скучно Анна год провела.

А в завершение — безымянный портрет — Бокельский стрелок. На картине — Боко-Которский залив, и в его прекрасных водах на маленьком плотике качается привязанный петух — это не просто петух — это символ турецких захватчиков. Со спины снят стрелок в черном, шитым золотом жилете с красным поясом, у него на плече ружье, поза схвачена — это как они, черногорцы, умеют: спокойная и напряженная одновременно — враг не пройдет!

Мужчины наши пакуют картины, пора ехать и монтировать Анину выставку. Завтра сюда съедется народ, который поразбросало по Европе. Анне — слава, а мне — московские друзья, которых не видела уже несколько лет.

61.

... Дорогой, я улетаю в Москву. Прости, что не сказала заранее. Роман окончен, сегодня ставлю точку, название придумала. Мне нечего здесь делать. Вся моя жизнь там, в Москве. Друзья, с которыми вместе я еду в аэропорт, говорят, что я напрасно надеюсь вернуть то, что прервалось моим отлетом, что той Москвы, которая теперь манит меня огнями, больше нет, и что мне вряд ли понравится этот освоенный город. Я им верю, но хочу посмотреть своими глазами, — возможно ли восстановить разорванную ткань.

Я наготовила своим зимних запасов, и они отпустили меня.

Ты не думай, я полюбила Балканы и привязалась к тебе. Мы с тобой обязательно доделаем все, что вместе придумали, — и покажем в Москве. Приезжай! Конечно, из Белграда до Москвы подальше, чем до Черногории, но ты ведь легок на подъем. Может, и вернемся вместе. Может, ты еще свозишь меня на Тару, и я снова увижу восход над золотыми соснами, нарву желтых цветов и вдохну этот запах — печали и счастья.

РАССКАЗЫ

СКИТНИЦА

В тот день мы с моей приятельницей Олей, оставляя за горным перевалом наш маленький приморский город, поехали в столицу — приобщиться к культурной жизни.

Носителем культуры выступал турецкий писатель Орхан Памук.

Публика, пришедшая, как и мы, на встречу с нобелевским лауреатом, весь вечер упорно допытывалась, как именно он пишет свои знаменитые романы, будто каждый из них только оторвался от письменного стола, где провел мучительные часы за сочинением диалогов.

— Теперь романы пишут все, — брюзгливо заметил лауреат, словно и вправду видел, как маячит за каждым из нас этот призрачный письменный стол, и секрета не раскрыл.

В это время раздался звонок. Пригнувшись, чтобы не мешать камерам, я вышла из зала.

Звонила дочь. По смущенному беканью в трубке сразу стало ясно: что-то неладно.

— Ты что натворила?

— Понимаешь, я выгуливала Ярика, а на улице такой страшный ливень, просто стеной стоит, и так холодно...

— И что? — тороплю я.

— Понимаешь... Он сидел прямо у гаража, такой жалкий, мокрый и весь трясся. Прямо до судорог.

— Кто?

— Щенок.

— И что?

— Ну вот он теперь тут. Со мной.

— Аня, — сказал я. — Я второй собаки не возьму. Подумай, мы и так Яркой повязаны, лишний раз никуда уехать не можем.

— Мама, — сказала Аня. — А что бы ты сделала на моем месте?

Мы помолчали. Ане не пять лет, и мне нужно было вслух повторять, что она с утра на работе, что убирать за щенком придется мне, что мы в чужой стране, что про дворнягу никогда не знаешь, какого размера она вырастет, что наш пес, приехавший сюда с нами через всю Европу, стареет, и что возни и трат с его лекарствами и диетой все больше...

— Я бы его помыла, — сказала я.

— Уже, — ответила Аня.

Горная дорога срезала круги, то открывая темную недвижную гладь воды, то ныряя в узкую прорезь тоннеля, то обнажаясь, как ладонь, над крутым обрывом

и едва различимыми в сумерках черными громадами скал.

Я глядела, как скользит мимо меня непрерывная огненная полоса придорожных фонарей, и думала, что я не могу взять на себя еще одну заботу. Примеров моего безрассудного великодушия дочь уже насмотрелась, и пора бы показать ей, как надо быть прагматичной. Думала о неизбывной виноватости благополучного человека перед теми, кому негде преклонить морду... А еще думала о турецком изгнаннике, о его писательских тайнах и о своем, уже совсем призрачном, письменном столе, который остался в Подмосковье, вместе с одержимостью писать романы.

А дождь и вправду стоял стеной, и сквозь мокрое стекло было видно, как низко лежат над горами тяжелые тучи.

Я догадывалась, откуда появился перед гаражом этот бродяжка. Наш дом стоит прямо рядом с монастырским садом. От древних серых стен спускается дубовая роща, а к дороге, ведущей в храм, подступает обычная для наших мест серебристая волна маслиновых деревьев. Народу там ходит мало, и трава чуть ли ни в два слоя покрыта пожухлыми опавшими листьями. В этом саду и поселилась собачья стая. Пять похожих друг на друга вислоухих дворняжек мирно побирались на соседней стройке, в жару дремали у ручейка, откинув лапы, а недолгой черногорской зимой прятались в глубине сада. Пару раз за последний месяц мне попадалась на глаза

одна из этих собачонок — черная с белым пятном на груди и с отвисшими сосцами.

— Подрастим щенка и выпустим. Нет, это неправильно, он тогда уже привыкнет к людям и хорошей жизни. Это будет как изгнание. Свезем в приют. С приданым. Дадим мешок корма и старые одеяла, — думала я, будто у меня в этом городе, в этой съемной квартире было что-то старое. Разве что пес. Но почему я уверена, что щенку будет лучше в клетке, чем в монастырском саду, в куче сухих листьев, со своей стаей?

Мы въехали в гараж.

— Смотри! — закричала вдруг Оля.

По слабо освещенному пространству, между плотно сгрудившимися машинами, металась черная собака с белым пятном на груди.

— Это она своего щенка ищет!

Отскочив от медленно въезжающей машины, собака выбежала из гаража и села на входе в подъезд, на мраморном крыльце, и замерла. В темноте она была похожа на Багиру.

Аня открыла дверь, ногой придерживая щель, куда Ярик уже просунул свою радостную рыжую морду. Вислоухий щенок, замотанный в полотенце, посапывал у нее на руках.

— Там его мать разыскивает, — торопливо сказала я, боясь, что собака убежит, и мне не на кого будет переложить ответственность.

Дочка насунула сапоги, а я достала из холодильника пакет с мясом, приготовленным для нашей овчарки: приданое. Или отступное.

Мы вышли под дождь. Ворота в сад были открыты, и дорога, темнея, терялась за мокрой и грозной ливневой стеной, оставляя только пятачок света, вырванный уличным фонарем. Аня поставила щенка на гравий. А я опустила рядом с ним пластиковое ведерко с мясом. Мы отошли. Стая появилась почти сразу. Последней бежала мамаша, высоко задрав морду, словно нюхом опережая остальных.

Дожди зарядили на целую неделю. Ветер, пришедший со Средиземного моря, гнал к берегу волны, и мы смотрели, спрятавшись под навесами, как они бьются о прибрежные скалы, рассыпаясь сверкающим ворохом брызг.

У меня на душе скребли кошки. Точнее, скребся этот маленький вислоухий щенок. Я все не могла себе представить, как он ушел с дороги, на которой я его оставила? Убежал со стаей? Месячный щенок за взрослыми псами? Мать утащила его за шкирятник? Или он бежал за ними по лужам, переваливаясь на коротких лапах, не успевая, отставая все больше и больше, падая и поднимаясь... Или сразу отполз с гравия в кусты и там остался лежать, дрожа и затихая...

— Ты все сделала правильно, — говорила благо-разумная Оля. — Человек должен соразмерять свои силы.

Если бы ты просто выгнала его на улицу! Но ему ведь было куда идти! В свою стаю! К матери! Представь, как она переживала!

По утрам я выходила на балкон и искала взглядом собачью стаю. Я уже стала отличать одного пса от другого. У соседней ограды кто-то бросил старый матрас, и они спали на нем, плотно прижимаясь друг к другу спинами. Но щенка среди них не было.

Аня купила в супермаркете большой мешок корма и перед работой выносила и ставила около драного матраса миску, вырезанную из пятилитровой пластиковой бутылки, с горкой желтых шариков. Я наблюдала, облокотившись на перила балкона, как псы деликатно переминаются с лапы на лапу в паре шагов от миски, пока ест черная собака с отвисшими сосцами. Эти сосцы меня и обнадеживали: значит, она где-то прячет и кормит своего щенка.

В местной прессе вышло большое интервью с Памуком. Журналистка тревожно спрашивала писателя, вытеснит ли электронная книга бумажную.

— Эти вопросы задавали пять лет назад! — кипятилась я. — Его о стольком можно спросить: ну, например, про язык. Почему он, скитаясь почти всю жизнь между Стамбулом и Америкой, продолжает писать по-турецки? Как влияет на его турецкий оторванность от языковой среды? Как он может всю жизнь писать про свой Стамбул, в который ему опасно возвращаться?

— Наверное, журналистку это не интересует, — возражала Оля, — она-то стоит на своем месте, среди своих читателей. Что им проблемы скитальцев? А кстати, за что его изгнали?

— За оскорбление турецких ценностей. При том, что он и есть сегодня главная турецкая ценность.

Я вздохнула. Я уже давно поняла, что в глазах друзей выгляжу, как хронический больной, который вечно нудит о своих болячках, как телевизионный волк, отлученный от прямого эфира, как алкоголик, лишившийся ежедневной выпивки. Два года в чужой стране, — и ни одной толковой строчки. Вот Памук говорит, что ждать вдохновения — наивно. Иногда, говорит, я пишу вдохновенно, иногда — просто пишу.

Если смотреть с нашего балкона, то Турция будет слева. Ко мне она даже ближе, чем к Памуку в его Нью-Йорке. Я даже колонки в газеты писала с вдохновением. А без него — не бралась. Мне это казалось не ремеслом, а профанацией, словно я унижала, приземляла этот необыкновенный процесс — сначала что-то будто разогревается внутри, там, где солнечное сплетение, потом это что-то вдруг приобретает объем, полноту, и ты начинаешь вытаскивать его из себя двумя руками, и все вокруг наполняется словами, цветом и счастьем. А теперь со счастьем что-то случилось.

Дело шло к Новому году. Дальние вершины черных гор покрылись белыми шапками, и голые стволы

на склонах выглядели словно их начертили гигантским карандашом. Дожди ушли, декабрьское солнце пригревало праздный приморский городок, полупустые набережные и макушки редких посетителей в незакрытых на зиму кафанах.

Я вышла из гаража, неся в руках нашу импровизированную собачью миску, наполненную сухим кормом. Оглядела дорогу, жмурясь на яркое солнце, и вдруг, краем глаза, уловила около мусорки какое-то шевеленье. Повернулась — а из-под бака вылезал наш вислоухий щенок, живой, здоровый и изрядно подросший!

Я поставила рядом с ним миску — он дружелюбно повилял хвостиком и не спеша приступил к завтраку, время от времени вежливо поворачиваясь ко мне круглой мордой. Коричневая шерстка блестела, и выглядел он совсем не тощим, даже наоборот, скорее упитанным. Значит, подумала я, наша тактика с кормлением мамыши себя оправдала.

Я достала телефон и сделала пару фоток, чтобы из первой же кафаны с интернетом послать Ане.

Смешно даже, я испытывала такое облегчение, будто камень с души свалился. Живой. Я не выгоняла его на верную гибель. Я отправила его к своим, и он выжил.

— Вот приду домой и напишу эту историю, — подумала я. — Напишу. Не буду, как советует Памук, ждать никакого вдохновения, просто сяду и напишу.

Тут вдруг знакомое ощущение зашевелилось внутри, там, где обычно рождается счастье.

Я начну текст так:

«Знаете, как черногорцы называют бродячего пса? — Скитница».

Да, именно. От слова — скитаться.

ИРИНА

— Пожалуй, это единственное место в Сербии, где я не хотела бы жить, — нерешительно сказала Татьяна. Она бы выразилась ярче, сдержанность — это не ее недостаток, но все, что окружало нас в тот момент, требовало большой осторожности. А окружала нас Смедеревская крепость.

Всегда спрашивают про первое впечатление. Оно у нас было — крепость не просто большая, она огромная. Уж на что современный человек привык к небоскрегам, — гигантские, обломанные сверху башни, которым счет терялся на десятой, не были похожи ни на один замок Европы. За высокой стеной с квадратными зубцами мелькал Дунай. Прямо перед крепостью тянулась железная дорога, на которой без движения, в клубах черной гари стоял локомотив с длинным составом. На фоне башен он был похож на игрушечную железную дорожку циклопического ребенка, который в любую минуту мог появиться из широкой прорези в башенной стене. Вот такое было наше первое впечатление. А последнее — когда мы уже уходили, оставляя за спиной стены, розовевшие в лучах огненного заката, — вот таким оно

и было: хотелось уехать подальше от этого места и поскорее.

Накануне вечером Татьяна привела меня в бар. Белградская вечерне-ночная жизнь выплескивает на теплые улицы тихое, почти домашнее веселье, и пешеходная зона словно становится гостиной для каждого, кто вышел прогуляться по городу. Мы дошли почти до парка Калемегдан, свернули налево и поднялись по ступенькам в бар, который круглый год празднует Хеллоуин. Кукольные ведьмы, паутина на стенах и смешное меню коктейлей с колдовскими названиями, типа «приворотное зелье» или «секс на метле».

Мы выбрали по ингредиентам, кто что любит из напитков, а потом каждая прочитала свое название. Танин оказался «Третьим глазом», а мне, оказывается, выпала «Драконья чешуя», — в объяснении говорилось, что именно она, чешуя, употребленная в виде специально приготовленного напитка, помогает отличить фантазию от реальности. Мне, которая как раз и живет в путаном мире сюжетов, придуманных диалогов и подхваченных у случайных прохожих реплик, — это было самое то. Таня же сочла напоминание о третьем глазе излишним. Она считала, что он у нее и так есть.

Глаз не глаз, а вернувшись домой, мы открыли компьютеры и начали писать книгу, которую совсем не планировали — о магической Сербии. О вкусной мы уже писали, но даже лекарственные травы, собранные на золотой Гаре, или пирожные, приготовленные по рецептам

старинных венских кондитерских, так и не помогли нам до конца разобраться, в чем тайна необыкновенной привлекательности этой страны. Магической, неотторгаемой и непоборимой привлекательности, — окутанной легендами, как осенний Белград «маглой», — легким речным туманом.

Многое, о чем мы будем рассказывать, — так и останется необъяснимым. Например, почему для самой первой поездки за тайнами мы безоговорочно выбрали город Смедерево и Смедеревскую крепость?

Я там уже была однажды, — в маленькой гостинице, а точнее, на небольшой, совсем пустой вилле, которая стояла на краю откоса прямо над блистающей лентой Дуная. Солнце садилось за холмами, разливая огненный свет на вечернюю реку, горько пахло сухой полынью, — а со мной совершалось чудо: всем существом я ощущала — впервые в жизни — это неуловимое чувство балканского счастья.

И даже крепость, которая отражалась в чистых дунайских волнах, казалась светлой и сказочной. Как же было обманчиво это впечатление!

Меня в любой истории всегда больше всего трогают женские судьбы. Даже в эпической, обструганной веками пересказов и переписываний, про подвиги, про мор и глад, всегда мелькнет какая-то деталь, золотая нить с иглкой, которую вышивальщица воткнет в белое полотно, тихий шелест незамеченной любви, еле слышный всплеск отравленного порошка, просыпанно-

го в тяжелый, украшенный драгоценными камнями кубок...

Ирина, прозванная Проклятой, стоит рядом со своим мужем, деспотом Георгием, на единственном сохранившемся портрете, раздетая в пышные царские наряды. Корона таких же размеров, как и мужская, в пять рядов украшена драгоценностями. На полустертой фреске видно плохо, но никуда не деть выпуклой тяжести темных рубинов, прозрачных смарагдов и нежных сапфиров. Карие глаза, нос с горбинкой, плотно сжатые губы, темные кудри — типичная византийская принцесса, чем-то даже похоже на бабушку Ивана Грозного, что из рода Палеологов, не родственница ли?

Не любит история женщин. Каждое лыко идет в строку. Огромное, о двадцати четырех башнях сооружение, равного которому нет в Европе, которое с одной стороны защищает страну от турок, с другой — от венгров, — стратегическое значение ясно и младенцу, но нет, — говорит народная молва, — деспот с растерянными глазами построил эту мрачную крепость только чтобы угодить молодой жене. Что ж, если византийская принцесса и вправду требовала строить этот невиданный по тем временам оборонительный комплекс, значит, что она недурно разбиралась в фортификации. Украшения? Да, в ту пору, пока еще не появились ломбардцы со своими банками, женские драгоценности были самым надежным и единственным способом размещения капитала. Опять — нет: она распродала продовольствие,

чтобы закупить побрякушек. Обнаруживается на верхних этажах Малого града огромная купальня, — думаете, пристрастие греков к водным процедурам возникает в распаленном историческом воображении? Нет, развратная царица купалась в ней с любовниками. А что, со свечкой стояли? Или с факелами? Стояли, наверное, и купалась смуглая принцесса в дрожащем свете смоляных огней и южных звезд — таких же, что сверкают над Эгейским морем... Но где теперь те факелоносцы, утекла вода из купален, и только звезды гаснут бледными сапфирами в утренний час над волнами Дуная... И был ли с ней тот молчаливый красавец с темным балканским взглядом, и стекала ли влага по его мокрым плечам?

И самое страшное — крепость торопились строить, османы наступали неотвратно как морской прибой, как прилив, как наводнение. Руководил работами Иринин брат, Фома, торопил, гнал, заставлял работать до мрака. И все она виновата, это она заставляла трудиться до изнеможения, а кто уже не мог — замуровывала в стены. И вот крепость построена. Монументальное сооружение выдерживает осаду, пушечную пальбу, и сдается только после трехмесячной блокады. Как признать свое поражение? Значительно легче обвинить во всем женщину, чужестранку, которая говорит на непонятном языке, высоко держит голову с тяжелой короной и с византийской надменностью даже не глядит в сторону простых подданных. Это она виновата в том, что кре-

пость пала, — вот вердикт истории, написанный мужчинами.

Мы припарковали машину около широкой площади с высоким собором, красивыми старинными особняками и современными павильонами с кафе и маленькими магазинчиками. Таня заскочила в какую-то лавку по мелким надобностям, а я, потоптавшись в ожидании спутницы, двинулась в сторону недлинного ряда деревянных прилавков, уставленных коробками с яблоками, банками меда и глиняными горшками. Я шла, не сильно глядя по сторонам, пересекая площадь по диагонали, словно имела какую-то специальную цель. И вдруг остановилась. Передо мной на прилавке, под деревянным навесом на небольшой дощечке были наколоты иголками украшения из кожи. С бледной картинки, распечатанной на принтере на простой бумаге, на меня смотрели карие глаза смедеревской деспотицы.

— Да, да, это она, — сказала девушка, выныривая откуда-то со стороны ближайшего кафе, — и эти серьги — копия рисунка с ее короны.

Я вынула из ушей свои жемчужины и повесила на их место серьги: тяжелые, треугольные, в виде перевернутой вниз короны, — слабый отсвет сокровищ, которые пропали где-то в тайниках истории.

— Не надо, не делай этого! — крикнула, подходя к лавке, Татьяна — но было уже поздно, — Бог вещь откуда взявшаяся таинственная связь с оболганной

царицей вдруг тронула мое сердце. А может — просто любовь к украшениям?

Главный вход в крепость был перекрыт. То ли археологический раскоп, то ли ремонт. Мы обогнули крепость по кругу и оказались с той стороны, которая выходит на Дунай. Здесь стены сохранили свою изначальную зубчатость. Квадратные, без итальянско-кремлевских изысков, зубцы смотрели на другой берег реки, так и не потеряв таящейся в них угрозы. Круглые башни, сложенные из кирпича, казались пониже тех, что возвышались ближе к городу, они были и разрушены меньше, однако, словно шрамы на теле, так же зияли на стенах трещины — следы взрыва.

Кладка из светлого кирпича придавала крепости сербристо-серый перламутровый цвет. Однако, к нашему удивлению, каждая из башен была словно расшита терракотовым узором: светлые кирпичи были проложены обычными, и все это вместе выглядело как вышивка на рушнике. Рисунок казался случайным и в то же время вызывал стойкое убеждение, что если и бывает в жизни что-то случайное, то уж точно не здесь.

— Таня, — ахнула я, — это же похоже на руны! Откуда они здесь?

— А руны везде есть, — меланхолично заметила Татьяна, — впрочем, были и славянские руны.

— А ты прочесть можешь?

— Да что там читать, — ответила Татьяна словно нехотя, она вообще стала отвечать так, будто все вре-

мя настырно думала о чем-то своем, отвлекаясь на мои вопросы только из вежливости, буквально автоматически. — Это все защитные руны. Ничего особенного. Вот там вот только странная, — она тряхнула своей кудрявой головой куда-то вверх и в сторону, — она говорит о том, что здесь рано или поздно все рухнет от огня.

— Так ведь уже рухало, — сказала я, — когда во время Второй мировой войны здесь взорвался склад немецких боеприпасов, то полгорода было убито взрывом.

— Да, да, — кивнула Таня и убыстрила шаг, словно отделяясь от меня и моих ненужных исторических экскурсов.

Мы продолжали идти вдоль Дуная, мимо высоких стен, круглых башен с зубцами, небольших каменных террас, — на них легко представлялись пушки, которые палили по другому берегу, на другом берегу всегда враг, а теперь сидели парочки и говорили по-немецки.

Я чего-то ждала. К этому дню у меня, как нарочно, накопилось: неразрешимые тупики, безвыходные истории, пустые надежды. Я ни в какую магию не то, что не верю, я ее скорее даже опасаясь. Как говорит один мой добрый приятель: кого зовешь, тот и приходит. А если вдуматься, как раз его-то я и звала сильнее всех... Но сказочная нечисть, гадания на рунах, амулеты из оме-лы — все то, чем пробавлялась наша Татьяна, казалось мне всего лишь парафразом на героическую трилогию про властелина колец. И в Смедерево за подругой

я поехала только потому, что новую книжку надо сразу начинать вдвоем, и что тема забористая, читательский интерес притягивает и прочее и прочее — все, что прикрывало темное подсознательное желание разрешить, наконец, неразрешимое.

— Таня, — спросила я с вызовом, — а конкретно для нас эти руны ничего не говорят?

— Нет, — ответила она, — конкретно для нас не говорят. Да ты не беспокойся: когда будет знак, мы его не пропустим.

Не могу сказать, что меня это успокоило. Татьяна забрала у меня мобильный — у меня в нем очень хорошая камера, даже получше, чем в фотоаппарате, и снимала все подряд. По крайней мере, мне так казалось.

— Посмотри, — сказала она вдруг, — там, наверху башни — ворон. Я пытаюсь его сфоткать, но очень далеко.

Ворон сидел недвижно, как приклеенный, будто специально позировал. Наконец мы оставили попытки приблизить кадр и двинулись дальше.

— Смотри, — сказала Татьяна, не оборачиваясь, — вороны нас сопровождают от самого начала, как только мы вошли в крепость.

Их было трое, включая нашу фотомоделю. Как я их сразу не заметила! Стоило нам остановиться, они усаживались на край стены и замирали, и снова расправляли перья, как только мы продолжали путь. Мне казалось, я даже слышу, как они хлопотливо хлопают крыльями.

Вот сейчас один из них, главный, спустится пониже и прошептит мне в лицо: *Never more...*

— Мне не очень хочется, — сказала Таня, — но надо бы зайти внутрь и посмотреть, как устроен двор.

Мы вошли в единственные раскрытые ворота и оказались внутри широкого пространства, огороженного полуразрушенными башнями и редкими деревьями с толстыми узловатыми стволами.

— Интересно, — заметила Татьяна, — взрыв не повредил деревья — посмотри, какие древние стволы, наверное, еще довоенные...

Она вдруг остановилась у дерева с вылезшими наружу корнями, между которыми рос огромный кремово-желтый древесный гриб, по виду напоминавший вскрытые катакомбы. Возле дерева лежал выкорчеванный пенёк. На раздвоенном стволе лежала палочка.

— Таня, — я взяла палочку в руки, — это не для тебя приготовили?

— Нет, — ответила Таня, — палочка не для меня. А вот этого, — и она указала на пенёк, который выглядел словно по нему кто-то уже прошелся рукой мастера-резчика, — вот его бы я взяла с собой.

— Но нам его не утащить, а кроме того... кто бы нам разрешил...

Я встала спиной к стене и склонила набок голову.

Передо мной лежала отполированная дождями и временем голова дракона. Выпученные глаза на голом черепе смотрели в сторону Дуная. В открытой пасти

было видно пару крепких зубов и застывший огонь. Это уже второй за эти дни. Я обернулась к самой высокой башне с широкой прорезью. Как раз по размеру для гнездовья драконов.

— Смотри, вот сейчас он оттуда появится, блистая чешуей, которая отделяет реальность от наваждения, страшная нечистая рептилия.

Воздух задрожал, и из широкого разреза серой башни вылетел, трепеща крыльями, ворон.

— Этому дереву было бы неплохо оставить какие-нибудь дары, — сказала Татьяна, останавливаясь у раздвоенного ствола, — можно банку пива или хлеб.

Я села на скамейку со сломанной спинкой, которая стояла прямо подле этого дерева. Оно было обычным, только очень широкий ствол и желтый гриб, похожий на миниатюрный город, и разверстанная драконья пасть, — впрочем, может мы просто себя накручиваем, как ты думаешь, Ира?

— Господи помоги, что слетело у меня с языка?!

Моя подруга что-то продолжала говорить, но я уже не слушала.

— Смотри, — говорила я уже не знаю с кем, извлекая из своей бездонной сумки предмет за предметом, — у меня есть лекарства, дорожная аптечка, косметичка, вот пудра, помада, давай я брошу под дерево помаду, нет, не подойдет? Вот что еще — расческа, блокнот, шарф...

Таня продолжала что-то говорить, но моя рука уже нащупала холодную гладкую поверхность.

— У меня есть с собой коробочка от подарка... — слабо сказала я, — понимаешь, я подарила подарок, а коробочку оставила себе, я не знаю почему, как-то связать, это подарок, он носит его всегда на руке. А коробочка — пусть она будет со мной.

Я сжимала в руках эту жестянку и чувствовала, что все просто летит черт знает куда. Таня стояла в отдалении и губы ее двигались, как в немом кино, но я не понимала и не старалась даже понять, потому что все во мне вдруг ослабло от одной невероятной мысли, — как низко, до какой дури готова я спуститься, лишь бы удерживать около себя этого человека.

— А главное, — услышала я вдруг отчетливо Танин голос, — что он уже давно с тобой!

Я поднялась со скамейки и, не оборачиваясь, двинулась дальше по тропинке. На стене, выходящей на реку, вырисовывались силуэты двух мальчишек, которые перебирались на другую сторону. Солнце садилось, и было не видно лиц. Только быстрые и ловкие движения, напоминающие тени на стене. Красный свет разливался по реке, а огненный диск одним краем уже касался воды.

Говорят, здесь до сих пор ищут клады. Кровавые рубины Ирины манят и любителей, и археологов. Но пока в этих стенах, покореженных взрывом, находят только кости.

Ну, нас, русских, этим не удивишь.

Синие серьги с нарисованными рубинами были так легки, что казалось, они и не серьги вовсе.

— Мы пойдем внутрь, в музей?

— Знаешь, мне совсем не хочется. И возвращаться в Белград в темноте...

— Тань, знаешь, какой у меня самый любимый образ из русской литературы? Фрези Грант. Помнишь «Бегущую по волнам»? — «Не страшно ли вам одному на темной дороге? Я здесь, чтобы вам не было жутко и одиноко...»

Мы вышли из крепости и двинулись к парковке. Я, конечно, понимала, что мы взвинчиваем себя, точнее, я взвинчиваю себя, Таня и так постоянно накручена со всеми своими амулетами, а я-то человек со здравым смыслом и ясной головой. Но мы уходили из крепости, не сговариваясь, быстрым шагом. И конечно, нам казалось, что сами башни смотрят нам вслед. Но это были всего лишь вороны.

Мы сели в машину. Таня водит умело и совсем не лихачит. С ней даже можно болтать по ходу. Но говорить не хотелось: я была подавлена. Не ожидала я от себя, что так легко поддамся на всю эту мистическую ерунду, что мое состояние — отчаянное и невозможное желание повернуть свою судьбу — и не только свою — откроет во мне эту слабость, эту брешь, в которую уже свободно влетает ворон. А там, глядишь, и до дракона недалеко.

Надо отвлечься, — подумала я, — вот, например, порассуждать о тяжелой судьбе средневековой женщины, пусть даже и царицы. И хорошее начало для нашей

новой мистической книги получится из этих размышлений, да и сама книга уже вырисовывалась в резко спустившихся на нас южных сумерках.

Я повернулась к Татьяне, которая вглядывалась во мрак за лобовым стеклом, и крепко сжимала руль, оттопырив в мою сторону локоть.

Я положила на этот локоть руку и сказала:

— Знаешь, Ира, я все придумала.

«... Я БЫ ХОТЕЛА ЖИТЬ С ВАМИ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ...»

Почему вдруг возникает это странное желание поменять большую жизнь на крошечную? Зачем Цветаевой «вечные сумерки» и «...роза — сердце — корабль»? И обязательно нелюбовь... Апофеоз драмы — деревенская гостиница. И он — равнодушный, беспечный...

РОЗА — СЕРДЦЕ — КОРАБЛЬ

Маленький домик в тихом пригороде недалеко от реки. Нет, не на берегу, о который бьют прославленные волны, — нет, чуть дальше, в узком переулке, где, почти налезая друг на друга двориками, садами теснятся одноэтажные разноцветные дома. Я бы выбрала желтый. Мне кажется, я его уже видела. Он недалеко от той улице, где жил Моцарт. Или по-прежнему живет. По вечерам он играет на флейте, высунувшись из окна со ставнями. По бульжной мостовой цокают копытами лошади, и фаэтоны чуть заваливаются на бок на тесных поворотах. Счастье обязательно должно быть маленьким. Пусть даже в саду не будет речки и мостика через нее, не надо и цветущей вишни. Только розовый куст пусть

«...Я бы хотела жить с вами в маленьком городе...»

обвивает перила у низкого крыльца. И багровые лепестки падают прямо под ноги.

Я бы вставала рано-рано, лишь завидев рассвет сквозь щель в ставнях, и ни за что не открывала бы их, чтобы утренний свет не упал бы вдруг на твое прекрасное лицо. Я хочу разбудить тебя сама. Я проведу пальцем от лба вниз по тонкой античной линии, и увижу, как чуть дрогнут сперва уголки губ и ты, не открывая глаз, засмеешься, и потом заспешишь — уже утро, уже пора, рога трубят...

Смолкнет звук твоих шагов, и я останусь одна. Разве это одиночество: моя душа полна тобой. И жизнь моя полна пустяков. Я просуну руку под ручку плетеной корзинки и пойду на рынок. Он тут недалеко, на площади перед церковью. Мне некуда спешить: до обеда еще далеко, и я буду медленно ходить между рядами, рассматривая на свет каждый кабачок, разглаживая взглядом листья салата и щупая шершавую шелуху крепкого, как мое сердце, лука. Ах, лук. Боже мой, я не знаю, могу ли я добавить в рагу жареный лук.

— Алло, это я.

— Даже если бы я не узнал твой голос, я вижу твое имя на экране.

— Это я.

— Это ты.

— Скажи, как ты относишься к жареному луку?

— Я люблю жареный лук. Я даже соскучился по жареному луку. Я правильно сказал?

— Ты скоро?

— Я постараюсь.

Лук в корзинке, кофе в чашке, я — в домике.

Он придет раньше, и еще будет светло, и еще будет тепло, и мы пойдем вдоль реки и будем говорить, перебывая друг друга, словно стараясь наговориться перед долгой разлукой. Черная шелковица встанет у нас на дороге, и ветви спустятся ровным кругом, как шатер.

— А у вас растут эти ягоды? У нас их называют дуд.

— Растут на юге и называются — шелковица.

— Осторожно, они пачкают пальцы.

Я стою в шатре из веток и срываю, не боясь запачкаться, черные мягкие ягоды, и сладость их тает во рту, и тает, тает где-то внутри его голос. И мне не надо даже поворачиваться, чтобы видеть, как он говорит, потому что я знаю наизусть каждое движение его губ.

По реке скользят лебеди как маленькие корабли, а вдоль реки бежит зеленая полоса травы, вся усеянная маленькими белыми ромашками.

— Сорви мне цветок!

Он наклонился, перегнул тонкий стебелек и протянул мне.

— У нас на ромашках гадают.

И я начинаю медленно отрывать лепесток за лепестком: любит, не любит, любит, не любит...

Последний лепесток чуть подрагивает — лети, лети лепесток, на запад, на восток, чуть коснешься ты земли, быть по-моему вели...

— Не любит.

... равнодушный, беспечный...

— Я сорву другой!

— Не надо, зачем...

Тихий вечер, вечные сумерки, я зажгу лампу, повернув фитиль. Какая-то птица поет свою вечернюю песню, и едва шелестит в саду весенняя листва. Самая лучшая погода это та, которую не замечаешь. Самое счастливое счастье — которого на самом деле нет. Будет ли, будет ли?

— Тебе хорошо со мной?

— А что, похоже, что я себя заставляю?

Бог весть, на что это все похоже.

Мы ведь не заслужили покоя, разве только любовь?

ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА

Погода всю неделю стояла дождливая. Как это обычно бывает — весенние грозы, когда молния разрывает небо на части, а гром гремит так близко, что кажется, еще немного, и все это вместе: и ливень, и желтый молниеносный огонь, и пушечные раскаты, — обрушатся прямо на крышу твоего дома. А потом — вдруг так же мгновенно, словно на них кто-то дунул, — тучи разбегаются по углам, и снова сияет жаркое балканское солнце. Промокнуть толком не успеваешь. Поэтому поездку отменять мы не стали. Запаслись дождевиками, прихватили с собой длинные гостиничные зонтики, а Таня Рыбакова даже взяла свои шведские палки. Она уже целую неделю учится с ними ходить, все уговаривая меня последовать ее примеру и разъясняя всю полезность включения в ходьбу не только ног, но и практически всего тела, — но пока ей это не удалось. Я предпочитаю ходить налегке, уж такой я человек.

На этот раз палки действительно понадобились. Дожди размыли лесные дороги, и, чтобы не поскользнуться, Таня опиралась на них, как на посохи. Глинистая почва не размякла до состояния грязи, однако лужи попадались все чаще и чаще и при этом подозрительно меняли

цвет, — от обычного глинистого, до светло-коричневого и даже желтого. Дорога из желтых луж вела нас в одно из самых загадочных и невероятных мест в Сербии, — Дьявола варош, что значит — Дьяволов город.

В местечко с таким названием не каждого затянешь, но у нас с Татьяной — производственная необходимость, — нам надо рассказать своим читателям о том, какие уникальные достопримечательности они могут обнаружить в окрестностях санатория «Пролом»

Отправились мы, конечно, в наше рискованное предприятие, не одни. Нас сопровождал местный гид по имени Бранко, одетый в костюм цвета хаки, который немного понимал по-русски, но делал вид, что не слышит, когда мы с Татьяной обменивались впечатлениями.

— Да, — говорю я Бранко, — название у вашего объекта — не к ночи будь сказано. Кстати, у вас в сербском языке есть подобное выражение?

— Ну, что-то в этом роде имеется, — ответил Бранко, — типа: не зови дьявола, а то и вправду придет.

— А мы в таких случаях говорим: не буди лихо, пока оно тихо.

Бранко вежливо засмеялся, но было видно, что до конца не понял.

А лес вокруг нас все сгущался. Верхние ветви все плотнее переплетались друг с другом, а нижние спускались все ближе к неширокой речке, которая бурно несла свои мутные желтые воды вглубь чащи. Обрывистый берег поднимался и становился все круче и выше.

Внезапно Бранко остановился. Справа от него, прямо в обрыве над рекой зияла огромная нора, размером приблизительно на некрупного медведя. Было видно, что внутри стоит вода, на удивление прозрачная, оттуда она и стекала в реку.

— Это старинный рудник, — пояснил Бранко, — таких на территории вароша — осталось три. Здесь раньше добывали железную руду, медь, олово, серебро и даже золото. Рудокопы залезали ползком прямо в этот туннель и оттуда выносили ценный металл.

— Не может быть, — шепнула я Рыбаковой, — тут человеку не протиснуться.

— Может, немного осыпалось со временем, — предположила Татьяна.

— Нет, нет, — сказала я взволнованно, — посмотри внимательно, разве ты еще не поняла, где мы? Это же Мория. Вон там, за лесом, Мглистые горы, а здесь, на отрогах горы Кхзад-дум прячутся рудники гномов. Отсюда они пришли на помощь Торину Дубощиту в битве Пяти армий.

— Ну, у тебя и фантазия, — усмехнулась Рыбакова. — И еще все названия из «Властелина колец» помнишь...

— Что тут помнить, — продолжала я, — посмотри, такого же не бывает!

Тонкий ручеек вытекающей из норы воды отливал цветом запекшейся крови.

Мы остановились снова, и Бранко со свойственной всем хорошим гидам гордостью за достопримечатель-

ность, с которой они сживаются, как с родной, показал на небольшой водоем, в котором стояла вода ржаво-красного цвета.

— Такого в мире больше нет нигде, — сказал он, а потом добавил, — ну, есть еще пара схожих, но тоже только в Сербии.

Дно водоема было устлано толстым слоем листьев, и казалось, нагнись я и запусти руку поглубже, то вытяну оттуда, ухватив за проржавевшую рукоятку, боевой топор гномов.

— Посмотрите, — Бранко показал рукой вперед и вверх.

Высоко над нами, вытягиваясь к небу, возвышался неровный строй гигантских башен, сужающихся к краю и словно прихлопнутых сверху огромным зеленоватым камнем.

— Вот она, Дьяволова ярога.

Гора Радан возвышалась перед нами во всем своем зеленом великолепии. Вокруг нее волнами ложились холмы, овраги, косогоры и река, которая текла снизу вверх. Да, именно так: от подножья к вершине несся поток все тех же, крашенных железной рудой, желтых вод. Я не придумываю. Снизу вверх. Можете проверить в Википедии. Или спросить Рыбакову, она всегда говорит правду. На высоте чуть ли ни шестисот метров стояли огромные земляные столбы.

Бранко не мог не нарушить моего замороженного ошеломления своим профессиональным объяснением:

— Эти столбы возникли в результате эрозии. В почве много минералов, оттого и цвет такой странный. Охряный — от железа, зеленый — от меди, белый — от олова. И из-за сильной минерализации здесь мало растительности. Эти фигуры так и появились. Дожди вымыли, а ветер выветрил. Обратите внимание: на вершине каждого столба — огромный камень. Он, как зонтик, прикрывает фигуру от разрушения. Вот видите: перед нами одна из фигур, которая потеряла свою каменную покрывку. Она в скором времени осыпется. Однако не пропадет. Там в середине заметен еще один камень, — он станет новым зонтиком, и фигура будет спасена. Здесь как бы два поселка. Один молодой, прямо видно, как идет процесс образования — сначала песчаная стена, затем из нее вырисовываются фигуры, а вот уже на самом краю отдельно стоящие, пока не очень высокие столбы. Всего здесь у нас двести две фигуры, диаметром до одного метра, а высотой от двух до пятнадцати метров. А кстати, такой камешек на верхушке весит до ста килограммов.

Мы поднимались по деревянной лестнице от подножья к вершине. Надо заметить — неделя в санатории «Пролом» — и мы с Таней поднялись на все шестьсот метров по крутым ступенькам без единой остановки и даже не запыхались.

Навстречу нам вырастали гигантские столбы. Они стояли симметричной группой, все больше напоминая башни замка, средневековый город, готический, тесный, окаменевший.

— Так это Озерный город, — вскричала я, — обуглившиеся башни, обломки каменных крыш на них, пустые улицы, — город, сожженный драконом!

— Кстати, — спросила я Бранко строго, — а где тут у вас живут драконы?

— Подождите немного, — ответил Бранко и загадочно улыбнулся. — Вот поднимемся на самый верх и расскажу.

Я шла, внимательно глядя под ноги, чтобы не поскользнуться на мокрых после дождей ступеньках.

Наконец, мы миновали последний пролет и поднялись на площадку, с которой открывался вид на Город. Я подняла голову.

Прямо на меня, в упор, смотрел своим зеленым глазом огромный дракон.

Гигантская каменная морда выглядывала из-за невысокого холма, отделяющего людей от Города. Конец хвоста — сухая извилистая ветвь — огибал песчаную насыпь на верхушке.

— Таня, ты видишь? — спросила я сдавленным шепотом.

— Вижу, — практичная Рыбакова уже щелкала камерой. Как же, она всегда помнит о работе, не то, что я.

— А вон там, — Бранко показал рукой в сторону зеленого кособога, — видите небольшой домик с терракотовой крышей? Прямо за ним находится огромная пещера. Там и есть драконово логово.

Мы не могли отвести глаз от картины, которую не в состоянии придумать человеческое воображение, ее может создать только бесконечная в своем разнообразии природа.

— Есть легенда, — Бранко был доволен нашим впечатлением и не торопился разбивать его новым набором цифр про какое-то ЮНЕСКО и чудеса света, — типичная для драконов. Наш, как и все другие, похищал молодых девушек из соседних деревень, а скажем так ... наутро, превращал их в каменные столбы. Парни из этих деревень, когда уже совсем не стало на ком жениться, обратились к местной виле...

— Кто такая вила? — тихо переспросила Таня.

— Вила, вилина — это славянская фея, короче, слушай: можешь себе представить Мглистые горы, Озерный город — и без лесных эльфов. Это была Галадриэль.

— И она, — продолжал Бранко, — рассказала молодым людям, где скрывается по ночам дракон. Парни отправились прямо в логово и расправились с чудовищем. А вот узнать, как вернуть девушек, они не сообразили. Так парни остались холостяками, девушки — земляными фигурами, а дракон, раненный в бою, долетел до горы и окаменел навеки.

Мы помолчали. Гора с желтой рекой, текущей вверх, была даже более невероятной, чем окаменевшая голова дракона.

— А Дьяволовой варошью назвали этот овраг, огромный, как каньон, местные жители, потому что по ночам

ветер так страшно завывает между этих фигур, что похоже на человеческие крики. Так, думают люди, враг рода человеческого мучает своих жертв.

После этого уже совсем не хотелось говорить.

— Слушайте, — спросила я, — а здесь поблизости есть церковь? Очень хочется до нее побыстрее дойти.

— Конечно, причем совсем близко, — утешил нас Бранко, и мы быстро начали спускаться вниз по тропе к небольшой земляной площадке, где уже сквозь деревья была видна маленькая деревянная церквушка.

— Это храм святой Петки, Параскевы по-вашему, — пояснил Бранко, — она очень старая, тринадцатого века. В ней иконы написаны на камне.

У входа в церковь стояло невысокое деревце, на каждой веточке которого была повязана маленькая белая полоска. Такое же деревце находилось и внутри храма.

— Это обычай здесь такой: надо повязать белую ленточку и попросить святую Петку, чтобы она избавила от боли, — сказал Бранко.

Ленточки лежали в самом храме в коробочке рядом со свечками. Я достала белую полоску и завязала ее на самую высокую ветку — только там и оставалось свободное место.

— Добрая святая, — попросила я от всей души, — избавь меня, прошу, от бессонницы.

Когда мы спустились вниз, накрапывал дождь. Переступая через лужи цвета охры, мы добрались до машины. Открыв дверцу, я постояла еще немного, глядя на

желтую дорогу, ведущую к волшебному городу: ждала, а вдруг из чащи выйдет своей легкой походкой лесной эльф с темными балканскими глазами...

Но пора было ехать, торопила меня Таня, вечерние процедуры, бассейн, ужин, в конце концов... а ты все об эльфах...

В эту ночь я впервые заснула сразу, как только легла, едва успев взглянуть в окно, где снова гроыхала гроза и сверкали молнии, яркие, как языки пламени из пасти дракона.

ДЕНЬ НА ЛАДОНИ

Эссе

Мне сегодня выпал случайный день. Путаница с тестами, отмена рейсов, — короче, вместо того, чтобы пересекать воздушное пространство в сторону своей провинции у моря, я осталась в Белграде. Все дела сделаны, даже чемодан упакован, — день выпал словно осенний лист на ладонь.

И я подумала: пусть это будет время для душевного равновесия. Чувства мои, как и события, как и невыполненные планы, как и отложенные надежды, спутались в клубок и все больше напоминали мне зал ожидания на вокзале, где давно отменили поезда, а пассажиры, с детьми, закутанными в платки, с чемоданами, тюками и чайниками продолжают метаться по пустому перрону.

Да, все как у всех: нервное чтение новостей, утренняя переписка — как температура с утра? — разноцветная горсть лекарств, запах химии в доме — спасибо, что чую, — и тоска в предчувствии новых потерь.

Я ничего сегодня не буду делать. Просто буду идти быстрым шагом по влажным аллеям вдоль темной воды, а потом сверну в безлюдный переулок и сяду за дальний

столлик в кафе, почти прижавшись спиной к застекленному, как в стакане, огню.

Взять каждую мысль. Разгладить. Проветрить. Покрутить перед собой в свежих зимних сумерках. Отложить в сторонку. Выгащить на свет Божий чувство.

Вот, например, страх. Распутать его, как пряжу.

Серая нитка — это я боюсь бедности. Смешно. Нашли, чем напугать. Это меня-то, человека, который менял водочные талоны на сахар, продав сперва за этот лишний талон свой ваучер. Меня, человека, который стоял в очередях за морковкой и перцами по четыре часа, — да, да, мои дорогие сербские друзья, это так по-русски называется паприка, которую у вас продают мешками. Помню, мы с мамой занимали очередь вместе, чтобы получить двойную норму, но я все равно не могла унести больше четырнадцати килограммов. А потом весь вечер резать, чистить, жарить, закатывать под крышки, чтобы потом ночью лежать, положив сверху на одеяло порезанные усталые руки... Разве это страх? Это все лишь возвращение к привычной, еще ленинградской жизни.

Темно-синяя нитка. Потерять все, что нажито непосильным трудом. Это мне рассказывать не надо. Это я сама расскажу тем, кто забыл. И про павловскую реформу, и про дефолт, куда рухнули собранные на две новые газеты инвестиции... А именно, что и сколько полетело при переходе в мою солнечную провинцию...

Я целый образ жизни потеряла, — и что? Разве это страх? Мой друг, оказавшийся по делам в моем новом месте обитания, заметил: — Я тебе даже завидую: у тебя новая социальная жизнь. Так оно и есть. Сколько я приобрела: дружеский круг, непривычные привычки и еще один язык, который, как прожектор на ночном пляже, вдруг по-другому высветил родную речь. И в этом новом мире, который ждет нас всех, я снова найду новую себя. Причем ничем не хуже.

А вот нитка черная. Страх потерь. Ленту фейсбука читаю как мартиролог. Каждый день — то ближний круг, то дальний, а вот и совсем рядом ударило. Друг в реанимации, у другого — мать увезли по скорой. И пишу уже как автомат — соболезную, держись, я с вами...

Вот тут мало чем можно себя утешить. И вообще, это не наш метод. Просто и жестко посмотреть в пустые глаза реальности. Да, она такая. И что теперь? Я, честно говоря, надеялась, что на наше поколение развала страны и его последствий больше, чем достаточно. В том смысле, что на каждую генерацию что-то да падает. Наши родители за свою жизнь не избежали ни одного вида бедствия. А мы — почти 20 лет без голода, расстрелов и бомбежек. Не жирно ли будет? Вот и наша беда пришла. Что помогает обычно русским для выживания? Мы это все знаем. Это состояние называется веселое отчаяние. Помните, как учил нас герой нашего детства Буратино, когда его совсем прижали воры и разбойники: — Пропадать — так весело! Мальвина,

смейся противным смехом, а ты, Пьеро, читай свои самые гадкие стишки.

Карабас-Барабас, не боимся очень вас!

А вот, например, любовь. Я стала подолгу говорить с друзьями. Нет, вовсе не потому, что стало больше времени. Они стали больше. Каждый из них стал больше в моей душе, важнее, ценнее. Помирилась с подружкой, — мы с ней не разговаривали пять лет, — и не могли даже вспомнить, — почему, что развело вдруг нас так непоправимо, — и ничьих писем я так не жду, как ее коротких фраз, — уже лучше, уже могу дышать.

Злой и жадный человек, о котором и вспоминать не хотелось, месяц преданно ухаживает за тяжело больным лежащим родственником... А если и это — любовь?

О, эта невозможность взять за руку, обнять и только смотреть на милое лицо сквозь экран... Но и спасибо экрану, что Бога гневить, и технологии, — представить себе этот ужас разъединения, случись он всего лишь лет на пять раньше, до невероятной возможности безотказно слышать родные голоса тех, кого не достать рукой...

И как дороги те, кто дорог!

А вот, например, город.

Пустые площади праздничных столиц. Золотые дубовые листья, прилипшие к мостовой, и редкие прохожие со спрятанными под масками лицами, — там, где всегда было многолюдно, весело, не протолкнешься.

Чашечка кофе за столиком с видом на прекрасный собор, на водную гладь, на детскую площадку, полную шумной ребятни... Чашечка кофе с друзьями — символ городской жизни, вдруг ставшей недосягаемой.

— А нам разрешат выйти на улицу в новогоднюю ночь? — мы сами словно дети, которых в наказание за плохое поведение не пустили на елку...

Закрытые двери ресторанов, слабо освещенные аквариумы витрин, — а у городского фонтана, чуть прислонившись к стене, играет скрипач. Если бы не они, уличные музыканты и актеры, — совсем невесело бы стало на предновогодних улицах. Не забудь опустить, пробегая мимо, трудовой динар, рубль или доллар в раскрытый футляр. Нам еще пару лет от этого нашествия оправляться, — поддержим друг друга, кто и чем умеет, — музыкой, монеткой, словом...

А вот, например счастье.

— Ну, где же ты? Что не звонишь? Я заждаюсь!

СОДЕРЖАНИЕ

Балканский Декамерон	5
Скитница	181
Ирина	190
«... Я бы хотела жить с вами в маленьком городе...»	204
Город желтого дьявола	208
День на ладони	217

Зелинская Елена Константиновна
БАЛКАНСКИЙ ДЕКАМЕРОН

Выпускающий редактор: *О.М. Шапаева*
Редактор: *И.В. Красникова*
Корректор: *Н.Н. Сергеева*
Обложка: *Е.И. Ватель*
Компьютерная верстка: *О.М. Шапаева*

Подписано в печать 00.00.2022.
Формат 84x108/32. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 000.
Тираж 000 экз.
Заказ №

Издательство «Даръ»
Тел. +7 (926) 363-1030
E-mail: darizdat@gmail.com
www.pravkniga.ru

Отпечатано: Публичное акционерное общество
«Т 8 Издательские Технологии»
109316 Москва, Волгоградский просп. д. 42, корп. 5

12+

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам
обращайтесь:

Тел.: +7 (926) 363-1030

E-mail: darizdat@gmail.com

Интернет-магазин: www.pravkniga.ru